

Часть III. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Т. А. Андреева (Челябинский ГУ)

Уральская периодическая печать начала XX в. как источник развития региональной историографии

Периодическая печать – культурный и общественно-значимый институт, выполняющий коммуникативные функции. В общероссийском контексте он представлен многообразием периферийных моделей с заложенной в них спецификой регионального развития.

Уральская печать с точки зрения информационного ресурса отражала как общероссийские, так и региональные тенденции развития, обусловленные общеисторическими обстоятельствами.

По всем параметрам массив газетной периодики внутренне неоднороден: губернские издания (Вятская, Пермская, Уфимская, Оренбургская губернии) содержали проблематику жизни административно-территориальных частей региона, и это отчетливо просматривалось в структуре, общественно-политической ориентации печатных органов, сюжетно-тематической и жанровой конфигурации материала.

В начале XX в. на Урале начинается специализация печати, появляются официальные, частные, общественно-политические, ведомственные, рекламно-коммерческие, научно-краеведческие, отраслевые газеты и журналы. Эта тенденция будет иметь форсированное продолжение.

Материалы периодики классифицируются как комплексный источник, включающий разнообразие отраслевые, видовые и жанровые информативные компоненты. Газетная информация различалась по происхождению: на страницах соседствовали нормативные, статистические и хроникальные документы, научная и общественно-политическая публицистика, литературные произведения местных авторов и др. Эти группы источников имеют в классическом источниковедении и исследовательской практике статус самостоятельных носителей информации. В последнее время они становятся объектом теоретического осмысления историков.

Погружение в газетный мир, обладающий внутренней синтетической природой, предполагает методологическую опору на междисциплинарные критерии обработки и интерпретации информации. Между тем, работа с материалами периодической печати предъявляет высокие требования к историкам, которые должны владеть стратегией, технологией и инструментарием по поиску, фильтрации и идентификации информации из многожанровых, часто тенденциозных, сомнительных по достоверности и эмоционально окрашенных нарративных напластований. В этом случае необходима установка на вы-

работку критико-аналитических подходов с апробацией их на мозаичной фактуре прессы, содержащей и скрытую, и недостоверную информацию, субъективные авторские комментарии. Решение проблемы доверия к исторической информации, определение ее фактографической надежности делают обязательным обращение специалистов к принципам компаративизма, стимулируют поиски новых в технологическом отношении способов обработки газетного материала.

По характеру использования газетный материал фигурирует в нескольких ролях.

Во-первых, он может доминировать в источниковой базе, являясь приоритетным сюжетным стержнем безотносительно диапазона и масштаба изучаемого объекта.

Во-вторых, он выполняет вспомогательные функции, в деталях «обслуживая» различную региональную проблематику, тем самым иллюстрируя ее отдельные аспекты.

В-третьих, он представляет собой познавательную ценность для краеведческих изысканий, значимость и статус которых в последнее время повышается.

В целом вовлечение в научный оборот новых эмпирических данных расширяет научно-тематическое пространство, позволяет планировать актуальную сюжетную сетку, в координатах которой возможна выработка и корректировка исследовательских позиций.

Уже обозначились контуры дискуссии по оценке характера и идейно-политической окраске программ легальных периодических изданий. С учетом общероссийской историографической ситуации можно экстраполировать ее исходные принципы, аргументацию и диапазон мнений на уральскую «канву» и с большой долей вероятности предложить версию о неизбежно-длительном сосуществовании плюралистических оценок.

В контексте историографической ситуации по уральской истории периодическая печать как социокультурный феномен практически не изучена. Требуется научное внимание к такому блоку вопросов, как: условия и принципы существования прессы, механизм формирования редакционных коллективов и корреспондентской сети, формы сотрудничества с местной творческой интеллигенцией, система распространения изданий, каналы и характер их влияния на общественное сознание. Периодическая печать Урала нуждается в «паспортизации» через составление тематических и библиографических указателей, биографических справок.

В целом следует признать, что роль и значимость историографических источников в изучении легальной печати и уровень историографического осмысления газетного арсенала находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.

**Актуальные проблемы экономической истории:
анализ тематики секций международных конгрессов**

Некоторые итоги работы международных конгрессов экономической истории, которые проводятся с 1960 г., а с 1965 г. под эгидой Международной ассоциации экономической истории (ИЕНА), обсуждаются Центром экономической истории при историческом факультете МГУ. Особенно подробно анализируются представительство различных стран на форумах и распределение секций каждого конгресса по эпохам, теориям, сферам экономической деятельности, макрорегионам. Представляется, что материалы XII, XIII, XIV и XV мировых конгрессов экономической истории, проходивших соответственно в Мадриде (1998 г., 85 секций), Буэйнос-Айресе (2002 г., 93 секции), Хельсинки (2006 г., 124 секции) и Утрехте (2009 г., 132 секции), дают репрезентативную кросс-национальную выборку по заявленной проблематике.

Проведенный контент-анализ программ конгрессов показал наличие в 1998-2009 гг. нескольких устойчивых тематических групп-кластеров, вокруг которых формировалось значительное число секций конгрессов. Именно секции с их генерализирующими темами, по каждой из которых представлялось от одного до нескольких десятков докладов, и стали единицей счета при проведении контент-анализа. Всего на 4-х конгрессах работало 434 секции, из них 291 (67%) по своей тематике вошли в какой-либо из выявленных нами 18 кластеров. Согласно исходной гипотезе, проблемы, обсуждавшиеся внутри кластеров, и являются теми векторами, которые задают магистральное развитие историко-экономической науки.

Лидирующим на конгрессах стало одно из традиционных и весьма авторитетных направлений экономической истории – 1) *История бизнеса – business history* (31 секция). Конъюнктурными проблемами стали: доиндустриальные формы организации предпринимательства; семейные предприятия и кооперативы; социальная ответственность бизнеса; влияние интеграционных процессов на эволюцию природы фирмы, роль и деятельность иностранных компаний в национальных экономиках; специфика женского предпринимательства.

2) *Всемирная история труда – Global labour history* (26 секций). На секциях обсуждались проблемы национальных структур занятости, мотивации труда, человеческого капитала и международных трудовых связей, домашних услуг, рабочих рисков и работы в «тени», сбережения рабочих и профессионального здоровья.

3) *Исторический уровень жизни* (23 секции). Основное внимание организаторов и участников секций было уделено мировым стандартам уровня жизни и антропометрическим показателям качества жизни.

4) *История отдельных товаров, услуг и отраслей* (22 секции). Предметом изучения стали процессы производства, транспортировки, дистрибуции и потребления ряда товаров. Были рассмотрены проблемы организации и развития игорного бизнеса, проституции, гостиничного хозяйства, а также традиционных отраслей – рыболовства и китобойного промысла, скотоводства и лесного хозяйства. В самостоятельную подгруппу можно выделить 4 секции, объединенные вокруг проблем функционирования рынков искусства, предметов роскоши и художественных промыслов.

5) *Распространение информации в истории* (21 секция). Основное внимание участников сосредоточилось на изучении средств и каналов коммуникации; распространения технических знаний и технологий; шпионажа и интеллектуальной собственности; государственного регулирования информационных технологий; роли грамотности и СМИ в распространении информации; кросскультурной рекламы и продвижения товаров.

6) *Исторические взаимоотношения государства и экономики* (20 секций). Доминирующей теорией в данном кластере остается неoinституциональный подход, где особое внимание уделяется общественным институтам, связанным с деятельностью государства.

7) *История банков и кредита* (18 секций). Данное направление окончательно выделилось из «бизнес истории». На секциях обсуждались проблемы кредитования в разные эпохи и социальной истории кредита.

8) *Экономическое поведение в глобальной перспективе* (18 секций). Данный кластер объединяет темы, посвященные индивидуальным и групповым экономическим стратегиям: экономическое поведение туземных народов, кочевников, поселенцев-колонистов; экономика семьи и домохозяйства; родство и наследство; женские экономические стратегии; экономика вдовства и экономика разводов; государственная политика в отношении стариков и экономика старости.

9) *Инструменты для изучения экономики прошлого* (17 секций). В секциях данного кластера проходят апробацию новые теории и методы, направленные на измерение прошлого. В частности, анализируются исторические критерии сравнения выпуска продукции и производительности труда; глобальная история денег, цен, обменных курсов и планируемых доходов; базы данных, историческая статистика и картографическая информация; методология анализа национальных счетов; методы реконструкции национального дохода.

Самостоятельными направлениями на конгрессах стали: 10) *«Морская» экономическая история – l'histoire «maritime»* (13 секций); 11) *Историческая экономика города* (13 секций); 12) *Индустриализация в глобальной перспективе* (13 секций); 13) *Глобальное неравенство в историческом измерении* (12 секций); 14) *История бизнес-сетей* (11 секций); 15) *Происхождение современного экономического роста* (10 секций); 16) *Экономические кризисы в истории* (9 секций); 17) *Экономика войны* (7 секций); 18) *Экологическая история* (6 секций).

Около трети секций не удалось локализовать в рамки более или менее однородных тематических групп. Тем не менее, некоторые исторические проблемы, которым на конгрессах было посвящено только по одной секции постановочного характера, имеют острую актуальность и способны, как в случае с экологической историей, стать родоначальниками целых ответвлений экономической истории. Так, перспективной представляется дальнейшая экспансия экономической истории в сферы, традиционно лежащие в области истории повседневности, например, появившиеся в Мадриде «экономическая история туризма» и в Хельсинки – «мода как экономический институт». Не имеют аналогов в предшествующей традиции и такие секции как «аутсорсинг в исторической перспективе» и «бренд, имитация и подделка». В 2009 г. впервые появились сразу две секции по «экономической историографии» (*Economic Historiography*), причем одна из них была посвящена истории самих мировых историко-экономических конгрессов. Кроме того, на последнем конгрессе в Утрехте организацией секции «Мир в 2030 г., изучение предложения в отдаленной перспективе» впервые был поставлен вопрос о прогностических функциях и футурологических возможностях экономической истории.

К сожалению, в российской историографической традиции большинство из выявленных тематических кластеров либо отсутствуют полностью, либо представлены незначительным числом работ. Исключения здесь составляет, пожалуй, только история индустриализации, а также, в значительно меньшей степени, – история банков и военная история. Даже, казалось бы, хорошо изученные взаимоотношения государства и экономики в российской историографии имеют несколько иное по постановке звучание и иные акценты. Отсюда и проблемы с конвертируемостью российской тематики в мировой историографии и явно недостаточное представительство российских ученых на международных историко-экономических форумах.

О. В. Воробьева (ИВИ РАН, РГГУ, Москва)

О глобальной перспективе историографического знания*

Одной из заметных перемен, произошедших в мире за два последних десятилетия, стало повышенное внимание к всемирной и глобальной истории. Между тем, как отмечают в своей недавно вышедшей книге Г. Иггерс и К. Ван [Iggers Georg G., Wang Q. Edward. *A Global history of modern historiography*. Longman, 2008], присутствует определенное противоречие между, с одной стороны, явной глобализацией историче-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время» (№ 10-01-00403а).

ских исследований и, с другой – столь же явным отставанием от этого процесса историй историографии, которые по-прежнему пишутся либо в национальном, либо – в западо- и европоцентричном ключе. Изучение взаимодействия и трансформации западных и незападных историографических традиций, исторического мышления и историописания в глобальном контексте, позволяющее на основе компаративных подходов сконструировать коэкзистенциальное историографическое целое человечества, по-прежнему является одной из лакун и насущных задач историографического знания.

Как показывают немногие из существующих на данный момент исследований в этой области, глобальная перспектива историографического знания позволяет не только углубить, а в чем-то и поменять свои представления об истории исторического знания, но и поставить важные теоретико-методологические вопросы. В последнем случае речь идет о способах написания подобного рода историй историографии, а, значит, еще шире – о проблемах историографии как науки в условиях происходящих в исторической науке перемен.

Во-первых, очевидно, что под влиянием процессов глобализации, столкновения разных историографических традиций, а также изменения за последние сорок лет эпистемологического горизонта исторической науки происходит заметная трансформация образа историографии, ее проблемного поля и предмета. Последний явно уже не может ограничиваться изучением процесса написания истории профессиональными историками (как это было принято с момента институализации исторической науки и вплоть до недавнего времени). Вряд ли такую историографию можно рассматривать и как традиционную историю исторической науки, хотя важное место в ней занимают интеллектуальные сообщества, специфика их формирования, структура коммуникативных сетей, образцы деятельности, конвенции по поводу содержания и специфики познания, образовательные практики, при помощи которых осуществляется трансляция знания и т.п. Очевидно, что на первое место здесь выходит осмысление самого процесса историографического познания, опыта осмысления историками реальности, а также ее восприятия современниками и способов передачи потомкам – другими словами, осмысление механизма получения исторических знаний, генезиса, функционирования и трансформации массовых исторических представлений. Стало быть, в своем широком понимании – и как история исторической мысли, и как история исторического знания, и как история исторической науки – историография все больше становится интеллектуальной историей, «изучающей процесс осмысления исторического прошлого, его объяснительные модели и традиции историописания».

Во-вторых, написанная в ракурсе интеллектуальной истории глобальная история историографии не может не быть контекстуальной. При этом речь идет не об одном, а множестве разных и весьма подвижных контекстов, существующих как внутри профессионального

знания, так и вне его – в широких институциональном, социально-политическом, культурном и интеллектуальном контекстах; и эти контексты неизбежно пересекаются и взаимодополняются, а порой и противостоят. И на все это накладывается еще одно неизбежное качество этих контекстов, а именно их бытование сразу в двух временах – прошлом и настоящем, контекстах исследуемых историографических культур и контекстах самого историографа.

В-третьих, создание глобального образа историографического прошлого в ракурсе интеллектуальной истории не может не актуализировать вопрос о ремесле историка историографии, его роли в сложном и достаточно проблематичном диалоге с разными историографическими культурами и традициями историописания и их синтезе в единый образ. Ведь глобальный историк историографии для достижения своей цели осуществляет разноуровневые и разновременные виды коммуникативных практик с представителями разных культур и цивилизаций одновременно, а это обязывает его к определенной «универсальности»: к пониманию множественности существующего прошлого, конкретно-временной и локально-пространственной специфики историографии, подвижности и условности историографических границ, возможности несовпадения научного пространства с национальными границами; к знанию вариативности историографического прошлого, а также способах его моделирования; к осознанию важности хронологического компонента в глобальном историографическом исследовании и асинхронности развития историографий; умению видеть и выделять типологическое разнообразие образов в системе мировой историографической практике, строить классификационные схемы процесса исторического познания.

Поэтому, в-четвертых, неизбежным становится формулирование задач в области историографической компаративистики, выработка критериев сопоставления значимых параметров исследования. Отчасти методологические проблемы глобальной историографической компаративистики созвучны тем, с которыми сталкиваются сравнительные исследования, проводящиеся в более узких рамках, национальных или региональных. Однако для структурирования канвы глобального историографического исследования этого, по-видимому, недостаточно – необходимо обращение к таким критериям, которые сами по себе выходят за национально-региональные рамки. Другими словами, глобальная историография должна представлять собой не сумму национальных или региональных историографий, а ориентироваться на сравнительный анализ развития историографических культур в контексте общих для человечества тенденций и процессов.

Не менее интересен, на наш взгляд, и содержательный аспект глобальной перспективы историографического знания. Так, например, осуществленный в книге Г. Иггерса и К. Вана анализ традиций историописания, существовавших в разных регионах до процесса вестернизации, позволяет предположить, что отдельные историографические

феномены и тенденции принадлежат всему человечеству или, по крайней мере, отдельным его частям, а не только Западу. Другими словами, некоторые интеллектуальные трансформации, которые традиционно связываются с Западом и транслирующей их оттуда в незападные культуры, появились в этих регионах еще до колониального влияния; они отличались от страны к стране и в пределах каждой из них, но при этом обладали определенной общностью. В этой связи невольно вспоминается становящееся в этом контексте полемическим высказывание Х. Уайта о том, что история – это западное изобретение, не являющееся культурной универсалией и экспортированное в те культуры, которые первоначально ее не имели.

Сказанное подводит нас к вопросу о насыщенности современной историографии множеством мифов, одним из которых собственно и является тезис об одностороннем влиянии западной историографии на незападный мир вплоть до недавнего времени. В этом ключе интересно помыслить и о том, что Запад – это не гомогенный, а чрезвычайно гетерогенный феномен, а стало быть, можно говорить не о западном влиянии, а именно о *западных влияниях*. Столь же разнообразной, по видимому, была и рецепция этих влияний, ибо представление о монолитном Востоке является в рамках этой логики не менее стереотипным и идеологизированным, чем представление о гомогенном Западе.

Это, в свою очередь, подводит нас к другому важному вопросу: если по мере глобализации историческая мысль за пределами Запада все больше и больше вестернизировалась и модернизировалась, то каковой была степень этой модернизации, и в какой мере можно говорить о разрывах с прежними традициями или преемственности с ними?

Сегодня еще слишком рано говорить о том, приведут ли различные попытки написать глобальную историографию к существенной трансформации этой дисциплины. Но многое уже указывает на необходимость призыва к такому подходу к написанию историографии, который выходил бы за пределы устоявшейся дихотомии Запад/не-Запад и был бы способен фиксировать перемены в историописании в многополюсной, глобальной перспективе, признавая, что импульсы к появлению этой перспективы поступали из разных источников и разных уголков земного шара.

Д. В. Давыдов (Казанский ГТУ)

Проблемы изучения крестьянской культуры ТАССР 1920-х гг. в трудах современников

1920-е гг. в ТАССР стали временем активного изучения проблем культуры и быта местного крестьянства, что было обусловлено необходимостью более детального изучения особенностей функционирования аграрного сектора республики. Начало систематической работы по изучению крестьянской культуры было положено в 1923 г. в связи с прове-

дением Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В конце мая 1923 г. в Казани было торжественно открыто Общество Татароведения при Академическом центре Наркомпроса ТАССР, преобразованное из Общества Востоковедения, основанного в 1922 г. при Восточной Академии. Председателем Общества стал профессор Н.Н. Фирсов. Работа общества была в основном направлена на изучение материальной и духовной культуры татарского народа, что знаменовало собой дальнейшее развитие этнографических исследований. Результаты научных работ обсуждались на заседаниях общества, с 1925 г. стал выходить «Вестник научного общества Татароведения» (10 номеров).

Центральное место в исследовательской работе 1920-х гг. заняла экспедиционная деятельность. Историки, этнографы, искусствоведы исследовали традиционную крестьянскую культуру: особенности питания, потребления алкогольных напитков, лечения заболеваний, приемов постройки жилых и хозяйственных помещений и т. д. (Воробьев Н.И. Кряшены и татары. Казань, 1929; Губайдуллин К., Губайдуллина М. Пища казанских татар (Этногр. очерк). Казань, 1927; Евсеев М.Е. Мордва Татарской Республики // Материалы по изучению Татарстана. Казань, 1925. Вып. 2; Калинин Н.Ф. О русском крестьянском зодчестве. Казань, 1925 и др.). Одновременно они получали возможность проследить происходившие в этих сферах изменения, осознать их высокий темп, не ставя при этом своей задачей изучение культурно-бытовые процессов, интенсивно протекавших в деревне в первые годы советской власти.

Одну из первых этнографических экспедиций по изучению татарских поселений, расположенных в радиусе 50–60 верст от Казани, провел П.М. Дульский летом 1923 г. Дальнейшие обследования проводились группой ученых под руководством Н.И. Воробьева, куда вошли М.С. и К.С. Губайдуллины, П.М. Дульский и др. Ежегодно на протяжении 1920-х гг. проводились экспедиции в татарские поселения Арского, Мамадышского, Челнинского, Чистопольского и Спасского кантонов. Результатом длительной и напряженной работы стала монография Н.И. Воробьева, посвященная материальной культуре казанских татар. К сожалению, нехватка средств не позволила обратиться к изучению культуры и быта других народов Поволжья, в том числе и русского населения. Тем не менее, исследователи стремились обратить особое внимание на «взаимные культурные отношения между различными народностями» (НА РТ. Ф. Р-447. Оп. 1. Д. 42. Л. 21; Воробьев Н.И. Материальная культура казанских татар (опыт этногр. исслед.). Казань, 1930; Он же. Этнографические исследования в Татарской АССР с 1920 по 1927 год // Этнография. 1927. № 1).

Изучение материальной и духовной культуры чувашского населения Спасского и Чистопольского кантонов в 1920-е гг. было предпринято С.Н. Юрениным, свадебных обрядов и языческих традиций чувашей Чистопольского и Буинского кантона провел Н. Романов. Некоторые черты быта удмуртов рассмотрел И.С. Михеев (Михе-

ев И.С. Кумышка. Казань, 1928). Изучением быта крещенской деревни занимался Н.И. Воробьев. В 1927 г. Н.И. Воробьев организовал поездку в селения Свяжского и Тетюшского кантонов для выявления культурных взаимоотношений народов Волжско-Камского края (Воробьев Н.И. Отчет о поездке с этнографической целью в Свяжский и Тетюшский кантоны ТССР летом 1927 г. // Вестник научного общества татароведения. 1928. № 8). Часть материалов, собранных 1924-1925 гг., осталась необработанной (Тагиров Р.Ш. Экспедиционная деятельность «общества изучения Татарстана» и ближайшие его задачи // Очерки по изучению местного края. Казань, 1930).

Во время экспедиций собирались образцы местного фольклора, делались фотоснимки и зарисовки. Существенную роль в сборе материалов сыграли местные учителя, работники различных учреждений и санитарные врачи (Мехоношин П.А. Изба и двор крестьян Татреспублики // Сборник здравоохранения ТССР. 1928. № 1; Сообщение из Спасского кантона о некрещеных чувашах // Вестник научного общества татароведения. 1927. № 6; Васильев М. Материалы по фольклору // Труды Общества Изучения Татарстана. 1930. № 1).

Полученные результаты оказались уникальными и касались особенностей постройки и функционирования крестьянских жилищ, а также санитарного состояния жилищных и хозяйственных построек крестьян, распространения инфекционных заболеваний, санитарного быта в деревне, что нашло отражение на страницах появившегося в 1928 г. периодического «Сборника здравоохранения ТССР».

В мае 1929 г. участники экспедиции провели комплексное обследование селений Мензелинского кантона: социально-гигиенический и историко-этнографический отряды экспедиции изучали культурно-бытовые и жилищно-санитарные условия 13 местных селений (из них 10 татарских), а также состояние и развитие кустарных крестьянских промыслов (Осведомительный бюллетень Общества изучения Татарстана. 1929. № 2).

В 1928-1930 гг. Музейный отдел Татнаркомпроса совместно с Государственным институтом истории искусств (Ленинград) провел три экспедиции, изучавшие архитектуру, живопись, ткани, резьбу и т.п., в первую очередь, татарского народа. Участники экспедиции (Н.А. Кожин, П.Е. Корнилов и др.), стремились выявить культурные взаимодействия народов республики. Попутно шло обращение к образцам духовной культуры: песням, обрядам, играм и т.д.

В 1920-е гг. исследователям удалось создать широкую источниковую базу, совершенствовать методику, принципы сбора и обработки документов, группировки фактического материала. Изучая проблемы крестьянской культуры, авторы призывали относиться внимательно и бережно к ней, не разрушая того положительного опыта, что был накоплен в традиционной крестьянской культуре. Не прогнозируя дальнейшие пути развития культуры, исследования 1920-х гг. накопили богатый фактический материал для проведения последующей работы.

В чем состоял «метод Шахматова»?

В историографии летописного источниковедения имя Алексея Александровича Шахматова (1864-1920) является одним из важнейших. Однако если масштаб заслуг ученого сомнений не вызывает, то вопрос о том, каким образом были получены столь выдающиеся результаты, представляется неоднозначным.

Знакомясь со специальной литературой, нельзя не обратить внимание на постепенное сужение круга методов и приемов работы, получающих высокое для летописеведения звание «шахматовских». Так, М.Д. Приселков отмечал в творчестве своего предшественника две ключевых составляющих. Во-первых, это была строго выстроенная последовательность постановки проблем, при которой изучение центрального «вопроса о Несторе» предварялось исследованием позднейших сводов, сохранивших (или не сохранивших) текст Повести временных лет. Во-вторых, М.Д. Приселков обращал внимание на прием, определенный им как «метод больших скобок» и состоявший в том, что определение общей «конфигурации», обстоятельств и целей создания летописного свода предшествовало его детальному изучению, а не наоборот (Приселков М.Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб., 1996. С. 44-45). В итоге, классический метод критики текста путем сопоставления рукописей, известный с первой половины XIX в., дополнялся новым методом, предполагавшим интерпретацию структуры содержащегося в этих рукописях текста.

Д.С. Лихачев также пользовался метафорой «больших скобок», однако суть этого образного выражения раскрывалась уже другому, и реальной альтернативой изучению дерева списков Повести временных лет оказывался только «метод логически-смыслового анализа», под которым понималась оценка каждой летописной записи «с точки зрения соответствия <...> идейному замыслу летописца». Естественно, так понимаемый метод было легко критиковать за модернизацию мышления древнерусских книжников, что и делалось на страницах книги Д.С. Лихачева неоднократно (Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 14-34). Как следствие, предполагаемый структурный подход к летописному тексту если не отрицался, то, во всяком случае, основательно компрометировался.

Наконец, Я.С. Лурье в принципе отождествил «метод Шахматова», «метод больших скобок» и требование «обязательного сопоставления всех летописных сводов, отражающих данный летописный текст, и построения генеалогических схем, которые должны полностью объяснить взаимоотношения между этими летописями»; на долю исследований структуры летописного текста осталась лишь одна

задача — ориентировать стемму во времени, определяя, какой вариант возник раньше, а какой позже (Лурье Я.С. О шахматовской методике исследования летописных сводов // Источниковедение отечественной истории, 1975 г. М., 1976. С. 89-93 и др.). В итоге, заслуги А.А. Шахматова оказались — фактически — сведены к утверждению в отечественной историко-филологической науке классических приемов работы с рукописной традицией, сформулированных К. Лахманом во втором десятилетии XIX в.

Хорошо известно, что классические методы критики текста позволяют решить лишь часть проблем летописного источниковедения. Реально сохранившихся рукописей существенно меньше, чем было летописных сводов, а значит история летописного дела на Руси, основанная только на выявлении и сопоставлении разных версий текста, будет чрезмерно обобщенной. Сознал это и А.А. Шахматов, широко применявший сравнение списков там, где оно продуктивно (в исследовании летописания XIV-XV вв.), но отнюдь не ограничивавшийся сравнительными данными при написании своей самой знаменитой работы «Разысканий о древнейших русских летописных сводах» (СПб., 1908). Приемы работы ученого ярко видны в рассуждениях о призвании варягов.

А.А. Шахматов полагал, что рассказ 6370 (862) г. представляет собой вставку в киевскую летопись из новгородской, осуществленную в конце XI в. Однако ни древнейшая киевская, ни новгородская летопись не сохранились; доступен только отрывок из Начального свода, возникшего в результате объединения двух текстов. Следовательно, обосновать представленную схему сопоставлением рукописей было невозможно, и на смену сравнению списков пришли логические (преимущественно дедуктивные) рассуждения, основанные на представлениях А.А. Шахматова о мышлении летописцев XI-XII вв. Особую роль при этом играл тезис об особом свободолобии новгородцев, противопоставлявшем их монархистам-киевлянам: «перед нами тот самый новгородский книжник», уверял ученый, «который другой раз, при других обстоятельствах сумеет отстоять вольности родного города от поползновений пришлого князя» (Шахматов А.А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1. С. 205-207). Понятно, что проверить эту психологическую конструкцию нечем, во всяком случае — в части «монархизма» киевлян (примером демократизма жителей Новгорода служил спор местной депутации со Святославом, описанный под 6478 (970) г.). Но и обойтись без подобного априорного конструирования тоже было нельзя, коль скоро оно оказалось единственным доступным ученому способом стратификации летописного текста. Таким образом, своеобразное «вживание» в сознание другого с целью восстановления чужой логики оказывалось столь же важным методом реконструкции не дошедших до нас летописных сводов, что и формальное сравнение позднейших списков.

Важно подчеркнуть, что проблема чужой одушевленности была одной из центральных методологических проблем начала XX в. В частности, психологические аспекты восприятия «другого» обсуждались в «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского, который начинает с диалектического анализа понятия «другой», но переходит к психологическим следствиям использования данной категории в исследованиях (Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2010. Т. 1. С. 342-350; Т. 2. С. 66-67). Таким образом, летописеведческие построения А.А. Шахматова шли в ногу с разработками его современников-методологов. Данное обстоятельство представляется тем более важным, что раскрывает глубокую взаимосвязь между разными отраслями науки о человеке.

Г. М. Запорожченко (Институт истории
Сибирского отделения РАН, Новосибирск)

Потребительская кооперация дореволюционной Сибири как феномен гражданского общества: историографическая ретроспектива

Кооперативная тематика включена в контекст таких актуальных проблем отечественной истории как модернизация и экономическая эволюция России к 1917 г., альтернативность путей ее развития, перспективы формирования в стране гражданского общества.

Из всех видов кооперативных учреждений в начале XX в. именно потребительская кооперация оставалась самой независимой, наиболее полно реализующая на практике общие для всего мира принципы кооперативного строительства, действуя на частноправовой основе, представляя внегосударственную сферу общественной деятельности. Осмысление исторического опыта развития кооперации в России предполагает, в первую очередь, анализ ее дореволюционного пути, который демонстрирует большие потенции хозяйственного развития страны, давшего такую мощную струю инициативы и предприимчивости и уникальный опыт экономической самостоятельности населения.

Потребительская кооперация заняла экономическую нишу слабо развитой системы розничной торговли и получила широкое развитие в городах и рабочих поселках Сибири в форме общегражданских всеобщих, корпоративных, независимых и зависимых рабочих кооперативов, например: кооперативы «Деятель» (Томск) и «Экономия» (Новониколаевск, Верхнеудинск), Омское и Нарымское городские потребительные общества, «Самодетельность» (Красноярск), «Самосознание» (Тобольск), «Труженик» и «Кооператор» (Иркутск), «Самопомощь» (Минусинск), «Сотрудник» (Барнаул), рабочие кооперативы на станциях Томской и Забайкальской железных дорог и каменноугольных копях и др. – всего более ста кооперативных начинаний.

В конце XIX – начале XX в. для теоретического осмысления феномена кооперации (В.Ф. Тотомианц, М.И. Туган-Барановский и др.) характерно рассмотрение ее функций и значения с точки зрения пользы, которую она приносила не только своим членам, но и всему обществу. Общим вектором их исследования было исследование кооперации становился переход от анализа основ капитализма к поиску более справедливых социально-организационных форм. Теоретики кооперации подчеркивали, что сущностной задачей кооперации является защита экономических и социальных интересов трудящихся, рассматривали возможность использования кооперации в переустройстве общества на демократических началах. Кооперация рассматривалась как основа для раскрытия творческого потенциала личности, проявления скрытых в народе талантов. По сути, разрабатывалась модель гражданского общества, хотя это понятие не употреблялось, и кооперации в ней отводилось существенное место.

Эта традиция была продолжена в середине 1990-х гг. (в советский период исследовательский интерес тяготел преимущественно к революционному прошлому потребительской кооперации). В связи с определенными перспективами становления в России гражданского общества исследования по кооперации приобрели новое звучание. Исследователи отмечали, что архетип гражданского общества был заложен в культурном коде российской цивилизации, что уже в конце XIX – начале XX в. были очевидны тенденции формирования в России гражданского общества. В качестве примера, как правило, они приводили организации местного самоуправления, благотворительные организации, не рассматривая, однако, в этом контексте кооперативное движение. В работах Ким Чан Чжина и А.В. Лубкова впервые кооперация была рассмотрена с точки зрения создания условий для формирования гражданского общества. Ким Чан Чжин показал, что содержание кооперативных идей и их практическое воплощение были своеобразной попыткой формирования гражданского общества, основанного на социализации личных экономических интересов широких масс, но главным препятствием здесь был, по его мнению, недостаток сознательности русского народа вообще, и членов кооперативов в частности (Ким Чан Чжин. Государственная власть и кооперативное движение в России – СССР (1905-1930). М., 1996. С. 7, 223). А.В. Лубков представил кооперацию как действенный фактор общественного развития, сказавшийся существенным образом на жизни народа в 1914-1918 гг. и пришел к выводу, что реальный кооперативный опыт при всей его неоднозначности вселял надежду на успешное продвижение от традиционного общества к гражданскому, что идеи кооперации согласуются с основами гражданского общества, во многом совпадают с традиционным пониманием русской идеи – соборностью, социальной справедливостью, человеческой солидарностью (Лубков А.В. Война. Революция. Кооперация. М., 1997. С. 259-260).

На сибирском материале были выполнены конкретно-исторические исследования по истории городской и рабочей потребительской кооперации в дореволюционный (П.Н. Марков, М. Омич, Н.А. Рожков, Д. Илимский (Д.И. Голенищев-Кутузов), а также в советский и современный периоды (В. Махов, С.П. Днепровский, Б.В. Иванов, А.П. Толочко, Д.И. Копылов, В.М. Самосудов, М.М. Валивач, Г.А. Титов, Л.Л. Кузнецов, Н.М. Кравец, Ю.П. Плотников, Н.И. Семкина, И.А. Коряков, Л.Ф. Берсенев, И.Г. Лашков, В.А. Кригер, И.И. Курьян, М. К. Яковенко, В.К. Алексеева, В.П. Зиновьев, А.П. Анашкин, И.Б. Ломакина, М.В. Гузик, А.Г. Сыщенко, В.В. Аксарин, А.Н. Макеев, А.В. Иванов и др.).

Планомерный характер исследованию исторического опыта сибирской дореволюционной городской и рабочей кооперации придаётся сектором аграрной истории Института истории СО РАН. Так, в трудах А.А. Николаева комплексно в общероссийском контексте рассмотрены вопросы теории, истории и современного состояния, общие тенденции и особенности развития основных видов сибирской кооперации (Николаев А.А. Основные виды кооперации в России: историко-теоретический очерк. Новосибирск, 2007; Он же. Основные виды сибирской кооперации в первой трети XX в.: общие тенденции и особенности развития // Кооперация: история, теория, экономика, управление. Новосибирск, 2008). Г.М. Запорожченко представила процесс зарождения и развития городской и рабочей кооперации в Сибири, уделив особое внимание малоизученной проблеме кооперативного жизнеобеспечения экстерриториального контингента работников железнодорожного и водного транспорта Сибири (Запорожченко Г.М. Городская и рабочая потребительская кооперация Сибири. 1864-1917 гг. Новосибирск, 2004; Она же. Транспортная кооперация Сибири в первой трети XX века. Новосибирск, 2007).

Таким образом, для исследователей стало характерным утверждение взгляда на кооперацию начала XX в. как на социокультурное явление российской жизни, своим влиянием выходящее за рамки кооперативных организаций. С методологической точки зрения современные исследования ведутся в русле исследовательской гипотезы о принадлежности кооперативных форм социально-экономической деятельности к сфере гражданского общества, важным критерием которого является способность граждан к самоорганизации на демократических основах.

Одна из интерпретаций французского революционного террора XVIII в.: рукописи П.Н. Ардашева о якобинской диктатуре

Проблемы якобинской диктатуры до сих пор продолжают оставаться одними из самых сложных и дискуссионных в исторической науке. В последнее время весьма примечательными можно признать попытки нарисовать психологическую картину жизни революционеров и обычных граждан в период якобинского террора (Sagan E. *Citizens & cannibals: the French Revolution, the struggle for modernity, and the origins of ideological terror*. Lanham, 2001). Однако еще в конце XIX в. интересные работы по данной тематике были написаны историком П.Н. Ардашевым. Еще до защиты в 1901 г. своей магистерской диссертации «Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка» П.Н. Ардашев занимался исследованием проблемы якобинского террора. Плодом его исследовательской работы, основанной на источниках из сборника документов «Парламентская история Французской революции» Ф. Бюше и П. Ру, стали несколько неопубликованных статей. Беловой вариант статьи П.Н. Ардашева «Очерки французского террора» размещен в фонде А.А. Александрова в РГАЛИ. Черновики и наброски статей «Очерки из времен террора», «Психология террора» находятся в личном фонде П.Н. Ардашева в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (далее – ИР НБУВ).

В «Очерках...» Ардашев с самого начала четко разграничивал революцию и террор. Он утверждал, что террор не является обязательным и неизбежным для любой революции. Встречающееся в исторической литературе отождествление Великой французской революции и террора Ардашев считал недоразумением. По его мнению, подобные отождествления «удовлетворяли и до сих пор продолжают удовлетворять людей, ищущих в истории подтверждение своих политических симпатий и антипатий». К числу важнейших заслуг историографии французской революции Ардашев относил выяснение принципиальной противоположности между «национальной революцией 1789 г.» и временем нахождения у власти якобинцев. Он обращал внимание читателей на то, что эпоха господства якобинцев «была направлена против революции 1789 г.; продолжая разрушение «старого порядка», первая [эпоха господства якобинцев] начала вместе с тем и разрушение того нового порядка, который был создан последней [революцией 1789 г.]». Историк подчеркивал: «Люди 1789 г. были энтузиастами свободы и вместе приверженцами монархии; люди 1793 г. – приверженцами республики и фанатиками демократического абсолютизма» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 300. Л. 2).

Переход якобинцев к массовому террору Ардашев объяснял комплексом различных факторов, при этом отрицая решающее значение внешней интервенции и внутренней контрреволюции. Первым фактором возникновения правительственного террора была немногочисленность якобинской партии. Для такого политического меньшинства как якобинцы террор «становится политической необходимостью, потому что система устрашения для него – единственное средство удержать захваченную власть». Вторым фактором, побудившим якобинцев обратиться к массовому террору, была умственная атмосфера в якобинской среде, насыщенная «смесью утопии и фанатизма». Стремление якобинцев воплотить идеи Ж.-Ж. Руссо, во что бы то ни стало, подтолкнуло их к использованию террористических методов. Третьим значимым фактором было доноительство, распространившееся в народной среде в период якобинского правления. Многие французские граждане желали получить выгодные служебные места с казенным окладом за счет доноительства. Четвертым фактором было желание якобинского правительства извлекать большие доходы за счет конфискации имущества репрессированных. Немалую роль в развитии террора сыграли маргинальные общественные элементы, пытавшиеся выйти из социальной ниши за счет преступной практики, внешне представленной как верноподданническое служение интересам якобинского правительства. К примеру, т. н. «батальоны Марата», состоявшие из деклассированных элементов, извлекали большую прибыль из практикуемых ими ноeadов (потопленний «врагов народа»), поскольку имущество подвергавшихся подобной казни переходило к ним. Массовость террора ученый объяснял также особенностями психики якобинцев. В статье «Психология террора» Ардашев представлял якобинцев лицами, лишенными психического равновесия. Но данная особенность психики, по замечанию историка, стала характерна и для широких народных слоев. Ученый замечал, что эпохи крупных переворотов в политической и культурной истории характеризуются обычно ненормальными явлениями в области психологии масс. Великая французская революция, «встряхнувшая» все общественные, политические, культурные и религиозные отношения французского народа, «не могла не произвести глубокого нравственного потрясения в массах». «Душевное равновесие массы не могло устоять против этого толчка; оно разом нарушилось» (ИР НБУВ: Ф. 1. Ед. хр. 8990. Л. 11об.). Именно потерей душевного равновесия, произошедшей от сильного психического потрясения, Ардашев объяснял то, что достаточно культурные и высокообразованные якобинцы, многие из которых до прихода к власти занимали интеллигентные должности педагогов, писателей и юристов, пережили резкую метаморфозу в течение нескольких месяцев во время революции.

В «Очерках...» Ардашев подробно проанализировал указы якобинцев, деятельность парижского и провинциальных революционного трибуналов. Изучив подробности судебной процедуры Парижского революционного трибунала, Ардашев нарисовал яркую картину вопиющего произвола, царившего в нем. Анализируя деятельность провинциальных трибуналов, историк пришел к выводу, что они превзошли парижский не только по количественным результатам своей деятельности, но и по приемам правосудия и по способам исполнения судебных приговоров. Ардашев отмечал, что народные массы принимали «не менее активное участие в деле суда, чем сами судьи» (ИР НБУВ: Ф. 1. Ед. хр. 8990. Л. 3).

Изучая умственный и нравственный облик якобинцев, Ардашев отмечал противоречивость их логики мышления. Противоречивой была сама идея якобинцев утвердить тиранию во имя свободы народа. Обогащая народ, якобинцы на деле проводили беспощадное его истребление: казням подвергались массы людей всех положений, сословий, возрастов. Ардашев считал, что И. Тэн ошибался, называя якобинцев диалектиками и резонерами, рационалистами. По мнению Ардашева, якобинец был фанатиком, враждебным к «разуму» и предстателем «классического духа» (ИР НБУВ: Ф. 1. Ед. хр. 8991. Л. 25).

В целом статьи Ардашева представляют большой интерес для исследователей истории и психологии якобинского террора. Выступая как последователь И. Тэна и его «психологического метода», Ардашев в своих работах во многом уточнил и развил многие из его идей, касающихся истории якобинцев.

А. В. Захаров (Челябинский ГУ)

«Государев двор» в русской историографии: игра в понятия

Проблемы адекватной передачи смысла аутентичной терминологии государственной службы в современной историографии имеют первостепенное значение для понимания культуры Средневековья и раннего Нового времени. В рамках нового научного направления – истории понятий – исследователи выявляют семантические взаимосвязи научных понятий и аутентичных словосочетаний. Историки осваивают новый инструментарий, который позволяет выяснить механизмы возникновения историографических неологизмов и многих концептуальных трактовок.

Одним из примеров искусственного наполнения древнего слова новым смыслом является термин «государев двор», соотношение которого с другими аутентичными понятиями исследованы в историографии весьма слабо. Очевидно, что собственно научный термин «государев двор» полисемичен и семантически отличен от аутентичной конструкции.

В современной историографии выделяются четыре основных значения термина «государев двор». Во-первых, в научных словарях и монографиях «государев двор» определен как институт социальной организации правящего слоя Московского государства середины XVI – начала XVIII в. Во-вторых, «государевым двором» обозначены резиденции государя в Кремле, подмосковных сёлах и русских городах вместе с дворцовыми постройками. То есть во втором значении термин имеет четко выраженную пространственно-территориальную сущность. В третьем значении термин используется исследователями реже, как правило, при описании устройства «Дворца», придворной жизни XVII в., что имплицитно включает штат дворцовых служителей («дворовых» людей), устроителей повседневного быта царя и его семьи. И, в-четвертых, «государевым двором» обозначается совокупность московских чинов и штата дворовых.

В контексте историографического изучения проблема состоит в том, что в научной литературе выражение «государев двор» в значении институции элиты (группы людей служилых) используется в более широком значении, которое не характерно для источников XVII – начала XVIII в. Логика применения древнего словосочетания и современного понятия «государев двор» не совпадают.

Авторы разрядных записей XVI в. замещали выражением «государев двор» необходимость детального перечисления имен и чинов. Выражение выполняло функцию аналогичную термину, отражающему современный концепт «двор монарха» – подданных, окружения монарха. Начиная с эпохи Смуты, в течение XVII столетия значение понятия «государев двор» как общности в среде служилой знати практически растворяется.

В значении «государева двора» как резиденции государя (жилья его семьи или царевича), словосочетание сохранялось с XVI в. до последних лет XVII в. Широкое распространение этого значения прослеживается в источниках различных видов. Это можно объяснить разнородной и постоянной практикой коммуникаций служилых и податных слоев населения, приезжих иностранцев с представителями государя на территории Кремля, подмосковных резиденций, Новгорода, Углича и других городов.

Первое введение в историографический оборот термина «государев двор» и его многозначность отмечена в «Лексиконе» В.Н. Татищева. Г.Ф. Миллер «извлек» из источников и другой термин XVII в. – «московский список», который позволил ему обобщить чины думные и московские, не стирая статусных граней между ними.

Современные значения историографического термина «государев двор» базируются на концептуальных построениях крупных историков конца XIX в. В.И. Сергеевича и В.О. Ключевского. Последний, например, придал понятию отчетливый смысл особой социальной общности. К началу XX в. на первый план авторитетные

историки выдвинули два значения аутентичного выражения «государев двор», как особой общности московских чинов, и как совокупности дворовых чинов (служащих дворцов).

В капитальных монографиях советских историков А.А. Зимина, В.И. Буганова, А.Л. Станиславского выражение «государев двор» чаще было закавычено, что подчеркивало аутентичное происхождение термина. Исследования состава и структуры «двора» придали старому выражению новое значение. Фактически понятие «двора» как социально-политического института появилось в конце 1970-х годов. Произошла закономерная метаморфоза – анализ эволюции «двора» как концепта привел исследователей к наполнению выражения «государев двор» новым значением.

Сгенерированное научное понятие «государев двор» как социальный институт оказалось востребованным и удобным для выражения смысла, который историки вкладывали в изучении «двора» как определенной структуры (концепта), обозначающего придворных и монарха. Отмеченное доминирующее значение научного термина «государев двор» не вполне корректно для анализа социальных трансформаций XVII–XVIII вв., но может быть актуальным для постановки когнитивных задач в источниковедении и историографии Петровской эпохи.

Р. А. Идрисов (Чувашский ГУ, Чебоксары)

Национальное в исторической науке как следствие кризиса сознания

О кризисе исторического сознания, поразившем отечественную науку в 90-е гг. XX в., написано достаточно много. В основном эти работы посвящены констатации самого факта кризиса, а также печальной фиксации временного отсутствия выхода из него. В этом отношении повышение значимости национальных мотивов в истории явилось определенным исключением из общего правила. На фоне затянувшихся дискуссий профессионалов о том, какой должна быть историческая наука, плеяда доморощенных авторов на местах смело слагает свои национальные мифы. Это творчество, часто далекое от общепринятых научных методологических основ, расцвело в постсоветский период, заняв в массовом сознании ту нишу, которая раньше была занята профессионалами.

На мой взгляд, произошедшее есть прямое и логичное следствие того процесса, которому мы все так бурно радовались в начале нашего романтического периода освобождения от навязших в зубах идеологических клише. Указанный переломный этап великолепно описывает и анализирует Дина Хапаева и ряд других исследователей, добавить к их наблюдениям что-либо связанное и ценное сложно. За

кадром осталась один немаловажный момент. В 90-х гг. XX в. произошла не просто смена парадигм – случилась потеря актуальности исторического сознания, за что отдельное спасибо государству как основному заказчику исторической тематики.

Тем не менее общественный интерес остался. Он стал искать новые формы реализации и достаточно быстро их нашел. Та же Хапаева приводит замечательное наблюдение другого исследователя Андрея Зорина, касающееся смены тематики исследований: «Многие люди, поскольку в командировки ездить дорого, а в архивах работать нельзя, много и успешно занимаются местной историей. Не потому, что они такие маниякальные краеведы, а потому, что это единственное, где можно достичь серьезного результата, не выезжая в крупные центры научные».

Получается, что произошедшая смена тематик – во многом вынужденное следствие сложившейся социально-экономической ситуации. Но это еще не все, вернее не во всем виновна наша пресловутая бедность. Наступивший кризис сознания – это закономерное продолжение предыдущего этапа. Замечательные профессора, учившие нас на исторических факультетах, сами оказались не готовы к новому повороту событий. Им не хватило альтернативных знаний, чтобы предложить нечто свое оригинальное, вне удобных для большинства рамок марксизма. Попытки оригинального заведомо не допускались. В связи с этим не могу не вспомнить воспоминаний своего научного руководителя в Казахстане, разрабатывавшего тему ссыльных декабристов в Тургайском крае. Уже защитив докторскую диссертацию, он так и не смог добиться связного диалога с академиком Нечкиной, так как покусился на святое – ее монополию над темой декабристов. Не умаляя заслуг уважаемой Милицы Васильевны, могу только заметить, что подобный стиль был типичен в общении части корифеев с их коллегами-регионалами.

Не отсюда ли демонстративный отказ от сотрудничества с профессионалами многочисленной группы представителей национальной интеллигенции, в основном «технического разлива», в вопросах этнической истории? Мир профессиональных историков, в свою очередь, платит им своей монетой. Национальная тематика нам в большинстве своем претит узостью и провинциальностью. Серьезных попыток разобраться в этих вопросах немного. Среди них выделяются исследования замечательного ученого Виктора Шнирельмана, есть общество интеллектуальной истории, проект «Локальная история», есть наши в целом безуспешные разовые усилия на местном уровне сдерживать поток историкоподобного чтения. Этого оказалось недостаточно. Как показала практика, дискуссия между представителями профессиональной исторической науки и доморощенными авторами новой национальной истории вряд ли возможна – слишком разнится уровень знаний и самый стиль общения.

Еще одно проявление кризиса сознания, уже вне профессиональных рамок, это потеря общественных ориентиров. Сознание постсоветского населения не обладало необходимой гибкостью, готовностью к самостоятельному поиску. Оно нуждалось в новом клише, и не его в том вина. Что можно было ожидать от 140 миллионов человек, привыкших, что кто-то решает за них? Непрофессиональная национальная история быстрее всего сориентировалась в новой ситуации. Она дала четкий ответ на классические общественные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». Виноват человек не твоей нации и следует избавиться от него. На большинстве постсоветского пространства этим ужасным человеком не твоей нации стали русские или русскоязычные, но могут быть и варианты. Казахи для узбеков (и наоборот), татары для башкир (и наоборот) и т.д. Подобные варианты национальной мифологии часто имели поддержку у новых национальных представителей власти, потому что отлично мотивировали их право на эту власть. Кризис сознания получил неприглядное практическое продолжение.

Самое неприятное в нем то, что он затронул и достаточно большую массу ученых-коллег в регионах. Оказалось, что у части их никакой путаницы в головах и кризиса сознания не наступило. И в предыдущий период они имели именно это сознание, просто успешно врали с высокими трибун и в научных диспутах, поучая нас, недалеких студентов. Теперь же их версии этногенеза, государственной истории, развития взаимоотношений с Россией оказались не только востребованными, они получили хорошее материальное продолжение – новые ученые степени в обновленных ВАКах и ГАКах, должности, возможности быстрых публикаций и благоприятный общественный резонанс.

Справедливости ради следует отметить, что так действовали и действуют далеко не все. Не все – это в первую очередь получившие глубокое образование в рамках российской научной школы советского периода.

С сожалением констатирую, что для разрешения сложившейся ситуации без помощи государства нам будет очень сложно обойтись. Сожаление же мое вызвано проблемой соотношения государственного заказа и авторской позиции ученого-историка. Как такового, государственного заказа глобального характера, направленного на носителей гуманитарных знаний, сейчас нет. Историческая наука в этом отношении несколько отличается от нанотехнологий. Свежие же примеры подобных попыток заказов пугают своей прямоотой и ограниченностью. Но без помощи государства нам не добиться, например, обязательной процедуры научной экспертизы печатных работ или создания подобных препятствий к рискованным выступлениям «специалистов»-националов на телевидении. Последнее, впрочем, по видимому, утопия в свете того, что могут позволить себе в своих высказываниях наши официальные политические деятели. Актуальность же в принятии определенных мер резко возросла, ситуация 2010–2011 гг. дала массу примеров этого.

Еще один способ выхода из сложившегося положения – преодоление кризиса сознания в исторической науке как такового. Развитие философии истории – сложный, не поддающийся точному проектированию процесс. Но, судя по тому, какое количество специалистов озабочены этой проблемой, надежда на скорое выздоровление есть.

И. Н. Ионов (ИВИ РАН, Москва)

Глобальная история как форма конструирования и репрезентации прошлого

Несколько лет назад М. А. Бойцов поставил интересный вопрос: «Выживет ли Клио при глобализации?». Ему казалось, что есть опасность сведения «всего многообразия *исторического* мира... к паре простых *социологических* закономерностей», в результате чего «устройство прошлого» будет донельзя примитивизировано, а «подробности» окажутся предметом интереса вполне маргинального сообщества специалистов. Он видел в глобальной истории угрозу исторической профессии.

Однако опыт последних лет показал, что глобальная история формируется на стыке макро- и микроистории, под воздействием критического рационализма, противопоставляя позиции всеобщей истории как эксклюзивистской, дистанцирующейся от сфер востоковедения и антропологии, европоцентрической, телеологической, линейной, детерминистской по своему происхождению – свою инклюзивистскую и конвергентную модель истории полицентрического мира, развивающегося через взаимозависимость его частей, их взаимодействие и диалог, а также связанные с ними экологические, культурные, политические кризисы с принципиально непредсказуемым исходом.

Это важные различия, уходящие корнями в противоречия между классическим и неклассическим научным знанием. Их яркое проявление – разница между концепциями, методологией и понятийным аппаратом книг «Восхождение Запада» У. Мак-Нила (1963) и «Традиции и столкновения. Краткая глобальная история» Дж. Бенгли, Г. Циглера и Х. Стритса (2006). Если у Мак-Нила центральной темой было столкновение варварства и цивилизации, возникновение империй, то есть образ «истории сверху», – авторы краткой глобальной истории вообще не используют такие понятия, как «варварство» или «цивилизация». Они создали интегративную, конвергентную модель исторического сравнения, понятийный аппарат которой ценностно-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФНФ в рамках проекта «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время» (№ 10-01-00403а).

нейтрален, а образы Африки, Европы, Океании, Азии и Америки сближены и проиллюстрированы примерами жизненных путей их коренных жителей.

В основе глобальной истории – обновленное восприятие прошлого, созданное антропологическим, культурным и пространственным поворотами в историческом знании. Культура (как и общество) в контексте глобальной истории перестают восприниматься как связанные и детерминированные системы и предстают скорее как инструмент фиксации и концептуализации различий в образе жизни народов. В теоретическом пространстве, где минимизирована дистанция между культурами, где диалог и взаимозависимость выступают как инвариант взаимодействия, различие трактуется как казус, в логике абдукции. Время теряет четкую целенаправленность, линейность, логичность, в нем главную роль приобретают силы традиции и форм ее трансформации. Пространство оказывается зависимым от форм его восприятия, репрезентаций и «ментальных карт». Предельные познавательные формы – объективистский историзм линейно-стадиальных схем или репрезентационный историзм тропов и жанров историописания – периферийны, хотя и сосуществуют. Интеллектуальная история выступает в качестве гаранта необратимости этих изменений, культивирует представление о многообразии стратегий видения прошлого.

Движение в сторону глобальной истории определялось несколькими последовательными травмами исторического сознания, которые способствовали тем или иным, подчас разнонаправленным процессам. Исходной была *первая*, колониальная травма, наложившаяся на травму от Второй мировой войны и ее последствий (1945–1960-е гг.). Левые философы, жители бывших колоний и беженцы-мигранты прибегли к стратегии деконструкции образа всеобщей истории (начиная с его логики, как постмодернисты, до образов общественных и познавательных институтов, как постколониальные критики), а также к попыткам конструирования иных образов истории. Глобальная история строилась в это время под сильным влиянием постколониальной критики. Этот проект ментально обеспечивал один из вариантов идеи глобализации – политическую глобализацию международного сообщества, которая нашла свое воплощение в расширении системы национальных государств и деятельности ООН.

Рубежом этого этапа развития исторической мысли был экономический кризис конца 1980 – начала 1990-х гг., который породил *вторую* травму, подорвав националистические и социалистические ценности независимого, суверенного государства и возродил элементы европоцентризма и империализма. Хотя влияние постмодернистов и постколониалистов не было устранено, они стали подвергаться все большей критике, а их идеи – реинтерпретироваться и интегрироваться в теоретические схемы, имевшие центристскую и правую идеологическую направленность. Близкая глобальной интернацио-

нальная история эволюционировала у Д. Рейнольдса от «международной» к «межгосударственной» и даже отчасти имперской. Однако возвращения к всеобщей истории не произошло. Позиции критического рационализма остались непоколебимыми.

В середине 1990–2000 гг. в глобальной истории наблюдается инерционное движение в сторону постколониальных идей. Но продолжается и процесс проблематизации познавательного поля, распространившийся на постколониализм и постмодернизм. Сформировавшееся пространство неклассического знания вытеснило не только догматические модели исторического знания, но и догматические варианты собственных деконструктивистских моделей, связанные с крайними формами постмодернизма и постколониализма, которые абсолютизировали деконструкцию и локальность.

На этом фоне глобальная история в 2000-е гг. приобретает фантастическую популярность. В книге Г. Иггерса и Э. Вана «Глобальная история современной историографии» (2008) она впервые прослеживает свои собственные корни. Глобальная история создает множественные дифференцированные модели общей памяти и прививает разноплеменным соседям (по городу или Интернету) компетенции, связанные с релятивизацией образов Другого, навыки деконструкции собственных стереотипов и иллюзий. Она реализует провозглашенную Ж. Ревелем и поддержанную Й. Рюзенем перспективу соединения модернизма и постмодернизма.

Т. П. Кальянова (Иркутский ГУ)

История и имперская политика: исторические знания британских служащих в Индии в первой половине XIX в.

Первая треть XIX в. оказалась временем значительных перемен в деятельности и статусе Ост-Индской компании. Именно в этот период осуществлялся переход от расширения владений к регулярному управлению ими. Это создавало потребность в новых навыках, знаниях, в другой квалификации служащих, направлявшихся в Индию. Образование управленческих кадров было важным обстоятельством, от которого зависели возможные успехи или провалы имперской политики.

В первые десятилетия XIX в. молодые люди, прибывавшие в Индию, должны были в течение трех лет изучать индийские языки, закон и историю в колледже форта Уильям в Калькутте. В Англии подготовка юношей, намеревавшихся поступить на службу, осуществлялась колледжем Ост-Индской компании в Хейлибери. Изучение истории, наряду с освоением географических, этнографических и политико-экономических знаний, было образовательным базисом британской геополитики.

Глубинной основой исторических знаний британских служащих оказывалась священная история, восходившая к Ветхому и Новому Завету, а также история античного мира. Сюжеты, персонажи, аллюзии и символы, связанные с такими историографическими традициями, часто возникали в их переписке, воспоминаниях, дневниках и путевых заметках.

Важной для британцев в тот период была история империи Александра Македонского. Этот герой, например, неоднократно упоминался в путевых записях британского политического агента Александра Бернса, который в 1832 г. по заданию правительства совершил путешествие по Северной Индии, Афганистану, Персии в Бухару и опубликовал описание своих странствий (Burnes A. *Travels into Bokhara, being the Account of a Journey from India to Cabool, Tartary, and Persia*. L., 1834). В предисловии к своей книге А. Бернс писал, что отправиться в путь его побудило стремление увидеть новые страны, посетить места завоеваний Александра, о которых он с большим интересом читал в ранней юности.

Многое в Пенджабе и Кабуле напоминало ему об истории прославленного завоевателя. Наряду с современными восточными названиями тех мест, через которые он проезжал, А. Бернсом неоднократно упоминалась давняя греческая топонимика. Некоторые племена, встречавшиеся в Афганистане, считались потомками давних браков греков с местным населением. История оказывалась фактом окружающего мира, современной жизни и текущей геополитики. Александр Бернс, даже именем связанный с героем античных времен, отчетливо ощущал эту живую связь разных исторических эпох.

В 20-е гг. XIX в. отчетливо проявился интерес к истории восточных стран и народов. Европейская мода на восточную экзотику, увлеченность египетскими древностями пробуждали желание прочитать о них, увидеть их. Стремление повидать древности Египта и античные памятники Италии, – именно эти мотивы определили маршрут возвращения супругов Лашингтон домой из Индии (Lushington S. *Narrative of a Journey from Calcutta to Europe by way of Egypt in the years 1827 and 1828*. L.: Murray, 1829). Их вдохновляла идея вернуться из Азии в Европу, повидав по пути египетскую пустыню, рассмотрев величественные монументы Египта, посетив любимые места Сицилии и Италии. Вместе с ними этот путь проделал и бывший губернатор Бомбея Маунтстюарт Элфинстон.

Романтизм, повлиявший на литературную традицию и читательские вкусы того времени, проявлялся, в свою очередь, и в историографии. Исторические знания служивших в Индии британцев также определялись романтическим мироощущением и, в значительной степени, были сформированы литературой. В дорожном багаже многих из них имелись книги, например, работа У. Гамильтона «Географическое, статистическое и историческое описание Индостана» (1820), сообщавшая необходимые сведения о прошлом и настоящем состоянии страны.

Чтение вызывало у путешественников чувство связи разных времен. Сиюминутные моменты походной жизни как будто встраивались в открывавшуюся панораму веков. Например, епископ Бенгалии Реджинальд Хибер во время своего служебного путешествия читал вышедшую в 1818 г. в Лондоне книгу У. Кокса о герцоге Мальборо. В дневниковой записи он зафиксировал свое удивление тому, что на пустынной равнине в самом сердце Раджпутаны невольно переместился во времена королевы Анны (Bishop Heber in Northern India. Selections from Heber's Journal / Ed. by M. A. Laird. Cambridge University press, 1971. P. 261).

Важное место в исторических знаниях британских служащих занимала история Великих Моголов. Она проявлялась в династических конфликтах, вассальных отношениях, даннических обязательствах и неиссякаемых интригах, которые постоянно возникали среди правителей многочисленных индийских княжеств. Знать, чтобы управлять, – это было неременным условием политических действий британцев в Индии. Упадок Могольской династии зачастую служил убедительным доводом в пользу британской власти, утверждавшейся в качестве естественной наследницы предыдущих империй.

Подобные представления можно обнаружить, например, в книге Р. Хиберы. После встречи с Великим Моголом его романтические представления об этих правителях, сложившиеся под влиянием прочитанных записок Ф. Бернье и других книг, разрушились. Наблюдавшийся упадок императорской власти вызвал грусть и разочарование. По его мнению, в Индии единственной силой, пытавшейся восстановить руины былого величия, оказывалось британское правительство, а не «бедный пожилой мужчина, чей образ когда-то в моем детском воображении был связан с невероятным богатством и роскошью и который назывался Великим Моголом» (Ibid. P. 239).

Таким образом, исторические знания и представления британских служащих оказывались естественной частью их образования, неотъемлемой чертой их общей культуры и были важным условием осуществления имперской политики в Индии.

В. Д. Камынин (Уральский Федеральный университет,
Екатеринбург)

К вопросу о роли методологии в современных диссертационных исследованиях по историографии

В сообщении автор обобщает накопленный за последние 20 лет опыт работы в советах по защите диссертаций по историографии в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане. Этот опыт показывает, что, во-первых, при написании диссертаций нет единого понимания содержания раздела методологии исследования, во-вторых, в разных советах предъявляются различные требования к его составлению.

После «методологической революции» начала 1990-х гг., в результате которой была разрушена монополия «единственно верной» марксистской методологии и в науке утвердился методологический плюрализм, перед учеными, защищающими диссертации, возникла дилемма. Суть ее в том, что автор либо вообще дистанцируется от выявления методологических оснований, на которых строится исследование, либо выбирает одно (или несколько) методологических оснований, которые применяются в современной исторической науке.

В первом случае мы наблюдаем то, что в разделе Введения, посвященном методологии исследования, перечисляются общенаучные принципы (чаще всего, историзм и научная объективность), а также исторические и междисциплинарные методы научной критики историографических источников. Зачастую к такому варианту составления методологического раздела диссертации подталкивают некоторые диссертационные советы, которые при приеме работы к защите настаивают на том, что историография как вспомогательная (или специальная) историческая дисциплина не может иметь собственной методологии исследования.

Во втором случае автор диссертации выбирает в качестве методологической основы своей работы одну из многочисленных теорий, с позиций которых объясняется исторический процесс и которая, как правило, не имеет никакого отношения к выполнению главной задачи историографического исследования – анализу историографических источников.

По нашему мнению, теоретическая часть диссертационного историографического исследования, как и любого научного, не может не включать методологии. Историографическое исследование ведется с позиций определенной научной концепции, которой придерживается ученый. Давая оценку историческим произведениям, историограф не свободен от собственных представлений о развитии исторического процесса и истории исторической науки. Поэтому ему следует заранее заявить о своих методологических позициях. Выбранная им научная парадигма оказывает серьезное влияние на отношение к определению содержания понятий, которыми оперирует исследователь, на выбор принципов и методов исследования и, самое главное, на оценку историографических источников.

Работая в условиях плюрализма мнений, историограф должен осознавать, что, выбирая соответствующую его представлениям методологическую основу, он именно с этих позиций оценивает историографические источники. Это его неотъемлемое право как ученого. Практикой современных историографических исследований является то, что историческое произведение, написанное с позиций одной методологии, оценивается с позиции другой методологии и при этом историографом делаются выводы о необъективном подходе историка, его предвзятости, подвергаются критике выбранная автором система

доказательств, сделанные выводы и т.д. Провозглашение историографом принципа научной объективности оказывается всего лишь декларацией. По нашему глубокому убеждению, достижение научной объективности является не приемом научного исследования, а его целью, к которой должен стремиться каждый честный исследователь.

В этом ему может помочь использование совокупности общенаучных (мировоззренческих) и конкретных историографических, исторических и междисциплинарных принципов и методов исследования. Применение принципов и методов научного исследования, пришедших из других научных дисциплин, имеет в историографии свою специфику.

Практически каждый современный историограф провозглашает использование принципа историзма. Действительно, историк исторической науки при работе с историографическими фактами и историографическими источниками обязательно изучает конкретно-исторические условия их появления, определяет влияние на воззрения исследователя современной ему общественно-политической обстановки, оценивает вклад исследователя в изучение проблемы, выявляет то ценное, что имеется в историографическом источнике для современности. При этом следует помнить, что использование в историографическом исследовании принципа историзма требует от ученого обязательного соблюдения двух условий. Первое – давать оценку исторической концепции в сравнении с предшествующим состоянием науки. Это позволяет выявить процесс накопления исторических знаний, определить преемственность, прерывность или непрерывность в развитии исторической науки, уточнить приоритет в постановке исторической проблемы и т.д. Второе – не оценивать историческую концепцию с точки зрения сегодняшнего дня, что неизбежно приводит к ее модернизации.

Возможным представляется использование принципа, который в предшествующей традиции именовался принципом партийности, а в современной науке его иногда называют «принципом полного учета социально - субъективного в предмете исследования и максимально возможной нейтрализации предвзятого отношения при оценке и интерпретации фактов» (Прядеин В.С. Актуальные вопросы методологии историографических исследований. Екатеринбург, 1995. С. 21). Мы разделяем мнение ряда современных историографов, которые считают, что «полное забвение в последние годы этого принципа в угоду общественно-политической конъюнктуре хотя и объяснимо, но вряд ли оправданно» и что «при анализе исторических взглядов ученого нельзя совсем отрешиться от его общественно-политической позиции» (Историография истории России до 1917 года: В 2-х т. / под ред. М.Ю. Лачаевой. М., 2003. Т. 1. С. 21). Историограф обязан учитывать факторы, влияющие на позицию, взгляды, концепцию автора исторического произведения, на его подход к отбору исторических фактов и их интерпретацию.

Помощь историографу могут оказать такие принципы историографического исследования, как принцип целостности, ценностный подход и др. Особенность применения методов исторической науки в историографическом исследовании показана А.И. Зевелевым (Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М., 1987. С. 30-48).

Влияние постмодернизма в историографических исследованиях ощущается в том, что многие историографы декларируют применение междисциплинарных методов. Действительно, объектом изучения историографа часто оказываются не только исторические, но и историко-антропологические, историко-экономические, правоведческие и др. научные труды. Понимание специфики содержащихся в этих трудах историографических фактов невозможно без овладения методикой, применяемой в смежных дисциплинах. Однако практика использования междисциплинарных методов в историографических исследованиях показывает, что авторы не идут дальше их перечисления во Введении, практически не используя в самой работе.

И. И. Кобылин (Нижегородская государственная медицинская академия), *Ф. В. Николаи* (Нижегородский ГПУ)

Оптические режимы эпохи модерна: взгляд М. Джея

Одним из наиболее острых вопросов актуального социогуманитарного знания является вопрос о сущностном статусе «(пост)современного» общества. Пространство дискуссии, не утихающей уже более 30 лет, задано двумя полярными позициями. Выразителем первой можно считать Ж.-Ф. Лиотара, предложившего в «Докладе о знании» (1979) использовать понятие «постмодерн» не только для обозначения совокупности определенных художественных тенденций, но в качестве имени для новой, нередуцируемой в своей специфичности исторической эпохи. Вторую позицию удачно сформулировал Ю. Хабермас в своем лозунге «Модерн – незавершенный проект» (1980). Показательно, что оба этих (столь различных во всем остальном) теоретика на первое место в изучении современного общества ставят не его социально-экономические трансформации, но общее изменение «картины мира». Акцент на последней заставляет обратить пристальное внимание на роль визуального в культуре вообще и на конкретно-исторические оптические режимы в частности. Х. Уайт заметил, что «теория “видит” само видение как проблему, постулируя существование и различных “способов видения”, и многообразных перспективных позиций; чтобы найти посредника между этими способами, мы нуждаемся в теоретическом осмыслении зрения, чья “естественность” должна быть поставлена под вопрос» (White H. *Figural realism in Witness Literature* // *Parallax*. 2004. Vol. 10. No. 1. P. 113).

В этом контексте бесполезно обратиться к работам одного из лидеров современной американской интеллектуальной истории М. Джея, представившего весьма продуктивный подход к данной проблеме. Склоняясь, вслед за Хабермасом, к признанию связи современного общества с миром модерна, Джей, тем не менее, отмечает и существенное различие между ними, проявляющееся именно во *взгляде* на окружающий мир. Капитализм и либерализм XIX в. были прямыми наследниками Просвещения с его стремлением расколдовать, «обнажить» мир – снять покровы с его тайн и продемонстрировать все калькулируемые богатства и «чудеса света» (сделать их доступными). Социальный и мировоззренческий кризис рубежа XIX – XX вв. вызвал недоверие к этой либеральной идеологии и сопровождающей ее идее «прозрачности» наших когнитивных аппаратов (будь то языковой или визуальный). Это недоверие к оптическим иллюзиям и симулякрам «общества спектакля» росло на протяжении XX в., достигнув своего максимума после второй мировой войны. Уже в 1944 г. Т.В. Адорно и М. Хоркхаймер в своей «Диалектике Просвещения» диагностируют особый род «просветительской» слепоты: «Сегодня регрессия масс – это неспособность собственными ушами слышать неслышимое, собственными руками дотрагиваться до неосязаемого, это – новый вид ослепления, который приходит на смену любой из побежденных форм мифического ослепления» (Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М., СПб., 1997. С. 53-54). Однако сторонникам критической теории это ослепление представлялось скорее результатом трагической потери связи с прошлым (и своей основной задачей они считали выявление связи современного кризиса с немецкой философией, культурой модерна и теми силами прошлого, которые могут дать силы для «спасения» общества). Лиотар же меняет эту установку сразу в двух аспектах: для него разрыв между настоящим и прошлым является пространством разработки «изначально забытого», а разрыв между фигурой и ее дискурсивным описанием становится абсолютным (необратимым, а не диалектическим).

По мнению Джея, обе эти программы (доверие и недоверие к зрению) исторически происходят из одного корня – барочной эстетики с ее избыточностью аллегорий и смыслов. Здесь срабатывает лишь непрямая референция или косвенная речь. Понятия с этой точки зрения должны рассматриваться лишь как связующее звено между словами и образами, – звено, всегда сопротивляющееся прозрачности значения. Ссылаясь на В. Беньямина, Джей рассматривает аллессию как констелляцию образа и понятия, которые невозможно синтезировать или полностью объединить (Jay M. Force Fields: Between intellectual history and cultural criticism. Routledge, 1993. P. 1-3).

Таким образом, специфика позиции Джея заключается в попытке примирить концептуально полярные позиции Лиотара и Хаберма-

са, состыковав сильные стороны их подходов. Критическая теория и так называемый «постмодернизм» хотя и с несколько разных позиций ставят общую проблему – проблему возрастающей сложности языка интерпретации (его фигуративного и дискурсивного пластов). Однако такая сложность не означает полной непрозрачности. Интеллектуальная история в этой ситуации может выступать не только в качестве более или менее верного «попутчика» указанных течений, но и как своего рода посредник между ними, применяющий разработанные в рамках лингвистического поворота «практики чтения» и подходы к исследованию пространства пересечения языкового и визуального, дискурсивного и фигуративного. Подчеркнем, что важным аспектом подобного диалога и сотрудничества выступает его перформативная направленность: и критическая теория, и лингвистический поворот и постмодернистские исследования культуры стремятся не просто «объяснить мир», но хотя бы отчасти – предельно ситуативно и осторожно – изменить его. В заключение отметим, что в условиях увеличивающегося дефицита ресурсов социального сопротивления именно академическая среда остается важнейшей их частью. Будучи главной производительной силой на фабрике знаний современного общества, она становится той реальной основой перформативного потенциала изменения общества, которая сохраняя прежние импульсы освобождения, облекает их в новые дискурсивные и визуальные формы.

И. И. Колесник (Институт истории Украины,
НАН Украины, Киев)

Историография vs история понятий, или снова о ремесле историка

Важным атрибутом ремесла историка является язык науки. Хорошее владение языком представляет собой лингвистический капитал (П. Бурдьё), который наряду с культурным капиталом является визитной карточкой каждого историка. Очевидно, ремесло современного историка заключается в постоянном совершенствовании своего научного языка, открытости к новому, готовности к прояснению смысла понятий, которыми он оперирует. В последнее время историк все чаще обращается к истории понятий – популярному на Западе направлению. Кто-то остроумно заметил, что сейчас историей понятий больше занимаются историки, чем лингвисты. Что же представляет собой история понятий? Какой ее когнитивный статус: это вспомогательная служба или целая философия (как считал Гадамер), метатеория, метод или течение в историографии? Пожалуй, следует согласиться с Ж. Гийому, который историю понятий воспринимал как «языковое переопределение интеллектуальной истории» (История понятий, история дискурса, история метафор. Сб.ст. М., 2010. С.85). Действительно, история понятий – это своего рода модерниза-

ция интеллектуальной истории вследствие «лингвистического поворота», смысл которого составляет контекстуализм (исторический и лингвистический). Исторический контекстуализм означал рассмотрение понятий в политическом и социальном контекстах, благодаря чему академическая история идей превратилась в интеллектуальную историю. В нынешней ситуации экспликация слова-понятия предполагает его лингвистический анализ, что углубляет смысл и раскрывает родословную данного понятия.

В современной истории понятий существуют две конкурирующие школы: немецкая и англосаксонская. Представители немецкой школы (О. Бруннер, В. Конце, Р. Козеллек) считают, что понятия являются отражением политической и социальной действительности, следовательно средством ее изучения. Кембриджская школа (К. Скиннер, Дж. Покок) воспринимают историю понятий как «дискурсивные войны». Существуют и национальные версии истории понятий: голландская, финская, российская. В России, как полагают Н. Копосов и В. Дубина, история понятий находится под влиянием англосаксонской традиции. В Украине, по мнению С.Степанаха, история понятий испытывает влияние классической немецкой *Begriffsgeschichte*.

История понятий через анализ употребления и смыслов понятий выступает средством изучения состояния науки, т.е. играет роль лингвистической методологии, что, несомненно, усиливает интеллектуальную историю как направление современных исследований. Каково же соотношение историографии и истории понятий? История понятий является средством изучения процессов становления историографии как специальной дисциплины, дает представление о структуре знаний, их восприятии и развитии. Развитие историографии можно проследить через сеть понятий, соответствующие круги понятий, их семантические связи. Становление историографии-дисциплины происходило на основе традиционно-герменевтической системы понятий, заимствованных из арсенала исторической науки эпохи Модерна. Это классические категории Просвещения, Романтизма, Позитивизма, Марксизма, которые на протяжении XIX-XX вв. использовались в практиках историка: «история», «источник», «критика», «факт», «метод», «развитие», «государство», «дух народа», «народность», «нация», «формация», «класс», «классовая борьба», «материалистическое понимание истории» и т.д. Как известно, формирование языка науки происходит на основе обыденной речи. Привычные слова под действием мысли, отмечал Г.Г.Гадамер, как бы «коробятся», наполняясь новым смыслом, превращаясь в термины, понятия, абстракции.

Следующий важный этап в формировании историографии приходится на 1960–1980-е гг., что связано с процессами ее институционализации, т.е. окончательным формированием идеологии, организационно-дисциплинарных основ и подготовкой кадров. Становление дисциплины историографии происходило под влиянием идей западной философии

фии науки и науковедения. Из семантического багажа науковедения историография (как история исторической науки) заимствовала понятия: «парадигма», «исследовательская программа», «образ науки», «идеал научности», «этнос науки», «кризис в науке», «научная революция», «школы в науке», а из логико-гносеологического анализа науки и психологии – категорию «рефлексия».

В 1990-2000-х гг. обновление и пополнение понятийного аппарата историографии происходило за счет лексического ресурса культурологии, культурной антропологии, микроистории, истории повседневности. В научный обиход историографа входят такие понятия, как «ментальность», «историческое сознание», «идентичность», «стиль мышления», «академическая повседневность». Заметным было и влияние на историографию постмодернистской лексики: «дискурс», «нарратив», «мультикультурализм», «постколониальные студии», «интертекстуальность», «исследовательские стратегии», «деконструкция», «децентрация» и т.д. С 1990-х гг. вследствие социально-политических потрясений, а также кризиса в идеологии украинская историография пережила настоящую «революцию понятий», связанную с замещением марксистской лексики национально ориентированной терминологией. К примеру, формула «освободительная война украинского народа под предводительством Б. Хмельницкого» была заменена понятием «Украинская революция сер. XVII в.», «класс» – «нация», «Октябрьская революция и гражданская война» – «национально-демократическая революция 1917-1921 гг.», «коллективизация» – «голодомор» и т.п.).

В последнее время пополнение понятийного ресурса историографии происходит на базе постнеклассической науки. Речь идет о ресемантизации понятий классической науки и наполнении старых/новых понятий иным смыслом. К этому ряду старых/новых понятий относятся «герменевтика», «междисциплинарность», «сетевой анализ», синергетический метод, «поворот к материальному». Словом, история понятий выступает как структурная модель историографии, метод исследования процессов становления и легитимации историографии как специальной дисциплины.

Н. А. Коновалова, О. В. Метель (Омский ГУ)

**Об идеях, витающих в воздухе,
или методологические заметки молодых историографов***

Состояние современной отечественной историографии характеризуется очень мощной методологической рефлексией, возникшей как ответ на «вызовы времени»: необходимость осмысления советского прошлого и интеграции в мировой историографический процесс. При-

* Работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям, государственный контракт 02.740.11.0350.

чем, мы можем говорить о включенности в данный процесс как представителей старшего поколения исследователей, так и более молодых ученых. Данная работа представляет собой один из вариантов подобных размышлений, она отнюдь не претендует на статус «методологического манифеста», но отражает субъективную точку зрения авторов.

По нашему мнению, в современной отечественной науке можно говорить о двух основных моделях историографического исследования: историографии как истории идей и историографии как истории научных сообществ. Данная мысль может быть отнесена к числу идей, « витающих в воздухе », и, в той или иной форме, уже высказанных исследователями (См., напр.: Крих С.Б. М.И. Ростовцев и М. Финли: два типа ученого // Мир историка: историографический сборник / Под ред. Г.К. Садретдинова, В.П. Корзун. Вып. 2. Омск, 2006. С. 6., и др.), однако так и не получивших окончательного оформления.

Серьезно упрощая, можно сказать, что модель построения историографического исследования будет зависеть от того, что будет воспринято ученым в качестве базовой категории: *историк-исследователь* или продукт его научного творчества — *научная концепция*. В первом случае в центре внимания оказывается процесс становления той или иной идеи у отдельного автора; во втором — общее движение мысли, для иллюстрации которой автор *выбирает* определенный набор фигур. Попробуем дать краткую характеристику обозначенных моделей.

«Историография как история идей»

Данная модель является хронологически первой и подразделяется на два основных варианта: (1) историография как история концепций (теорий) и (2) историография как история понятий и текстов (нарративов).

(1) Изначально в качестве объекта историографии выступала лишь *научная концепция*, и, следовательно, историография мыслилась как *история исторической науки*. Столь узкий подход к предмету приводил к тому, что историограф видел своей задачей отобрать работы, посвященные одной проблеме, и расположить их на некоем подобии «оси времени», в которой за «*ноль*» взята самая первая концепция по интересующей историографа проблематике, а за *x* — вся полнота реальности прошлого, величина которой на данный момент не известна, но к которой приближаются все расположившиеся в хронологическом порядке концепции.

(2) Изменение взгляда на объект историографического исследования в рамках изучаемой нами модели было связано с кризисом позитивизма, поставившим в начале XX в. под сомнение сам факт научности гуманитарного знания, а значит и право последнего на существование. «Ответом» на данный вызов стали проекты Р. Козеллека (история понятий) и Й. Рюзена (историческая память) (Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен» проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2005; Козел-

лек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история метафор: Сб. ст. / Под ред. Х.Э. Бёдекера. М.: НЛО, 2010. С. 21-33). В дальнейшем, благодаря влиянию постмодернизма, историография была (а) сведена к *жанру литературы*, тем самым, оказавшись в статусе простого повествования (Х. Уайт), (б) заняла место *истории* (Ф.Р. Анкерсмит) (Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 2002; Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003).

«Историография как история научных сообществ»

Антисциентизм, набирающий обороты в начале XX в., заставил гуманитарные науки пересмотреть свои дисциплинарные объекты. Одни исследователи, как мы рассмотрели это выше, обратились к языку и тексту, другие – к человеку. Модель историографии как истории научных сообществ получает распространение в отечественной исторической науке в 1990-е гг. и восходит к Т. Куну, совершившему, своего рода, «антропологический поворот» в науковедении.

В рамках данной модели историограф может изучать либо отдельного ученого (1), либо целые исследовательские коллективы, делая акцент на том, как происходит становление отдельных научных концепций *через призму системы человеческих взаимоотношений* (2).

(1) *историография как история историка* или *биоисториография*, своей главной задачей видит стремление «прочитать» авторское повествование сквозь призму отдельной личности.

(2) Во втором случае историография рассматривается как *коммуникация*, т.е. сквозь призму «коммуникативных актов» и «стратегий», позволяющих коллективу реализовывать поставленные научные задачи.

Обе рассмотренные нами модели обладают своими достоинствами и недостатками. Так, историография как история идей грешит генерализациями и абстракциями, наделяя концепции самостоятельным существованием: они обитают в отдельном мире, где происходят их столкновения, борьба, взаимодействие. Вместе с тем, указанная модель позволяет обнаружить сходные идеи у весьма далеких, территориально и хронологически, авторов и проследить общее течение мысли. Вторая модель, в свою очередь, тяготеет к фактографизму и предлагает объяснения, многие из которых весьма проблематично поддаются процедуре верификации. Однако она позволяет рассмотреть «внутренние пружины» историографического процесса, показать «личностную» составляющую идейных столкновений. Неким подобием «золотой середины» может выступить синтез обеих моделей, осуществляемый с помощью научных коммуникаций разного уровня: «историк-историк», «историк-власть», «историк-читатель», «историк- эпоха/нарратив/дискурс». Однако данный проект является для отечественной науки делом будущего.

Интеллектуальные страсти вокруг методологических «поворотов» гуманитарного знания рубежа XX-XXI вв.

Многочисленные методологические повороты: антропологический, культурный, лингвистический, визуальный, прагматический, когнитивный, социоисторический, нарратологический, новый исторический и многие другие меняют традиционный облик науки. На одной из конференций РОИИ, специально посвященной теоретическим вопросам исторической науки (2008), прозвучало и несколько вариантов комплексного названия тех поворотов в методологии, которые повлияли на историческое знание: эпистемологический, парадигмальный и собственно исторический поворот. На языке «поворотов» становится модным говорить о новых тенденциях. Вполне понятные опасения, касающиеся научной моды, приводят даже очень уважаемых историков к полному отрицанию их полезности.

Все «повороты» объединяет одна идея – идея синтеза, попытка противостоять мощной тенденции дифференциации наук, начавшейся с эпохи Просвещения и продолжающейся по настоящее время. В русле этой идеи идет движение от нарративизма к так называемой когнитивной истории. Термином «когнитивная история» ее сторонники именуют науку, создающую интеллектуальный продукт за счёт синтеза информатики, историографии, источниковедения, структурной лингвистики и антропологии.

Методологические повороты к иным наукам меняют логику традиционного исторического мышления, помогают историку расширить его представления о том, как и почему действовали в прошлом его персонажи, но и создают ситуацию определенного конфликта. Его можно именовать конфликтом интерпретаций, конфликтом методов, конфликтом понятий: при этом происходит явное усложнение работы историка, к которому готовы далеко не многие представители профессионального сообщества.

Возможно, что и по этой причине некоторые историки своеобразно относятся к методологическим поворотам. Так, по мнению Н.Б. Селунской, лингвистический поворот разрушает основы профессиональной научной деятельности историка. Культурный и антропологический подходы она называет «растаскиванием истории в разные стороны». Новые предметные области истории, возникшие в результате методологических поворотов, считает «незаконнорождёнными» (Селунская Н.Б. Методологическое знание и профессионализм историка// Новая и новейшая история. 2004. № 4). В противовес этому автору, Б.Г. Могильницкий, называя вызов постмодернизма «субъективным поворотом», оценивает его достаточно высоко, особенно в плане сближения гуманитарных и естественных наук (Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Вып. 3. Томск, 2008. С. 4).

Антропологический «поворот» исторической науки оказал сильное воздействие на самосознание профессиональных историков, применивших в своих исследованиях антропологическое понятие культуры как способ коммуникаций. Б.Г. Могильницкий обратил внимание на то, что уже М. Вебер предполагал возможность такого влияния антропологии, признавая успехи этой науки.

По мнению Л.П. Репиной, культурный (или) культурологический поворот также имеет свои истоки в антропологии (см. ее статью в «Диалоге со временем». 2007. Вып. 20). С ней согласен и А. Мегилл (Историческая эпистемология. М., 2007). Некоторые авторы считают, что культурных «поворотов» было несколько (Дубина В.С. «История повседневности» в плюрализме культурных поворотов// Диалог со временем. 2010. Вып. 32).

По мнению Ж. Ревеля, к появлению культурной истории привел постмодернистский поворот. Под культурной историей он понимает своеобразный методологический подход. А вот для Ж.-Ф. Сиринелли культурная история одновременно является и областью знания и способом видения (Интервью с ним // Диалог со временем. 2010. Вып. 30).

Лингвистический поворот призвал историков лучше вчитываться в тексты, показав необходимость выбора таких языковых оборотов, которые помогают избежать трюизмов и одновременно углубляют наше понимание прошлого. Он предполагает разнообразные теоретические ориентации. Так, Ж. Деррида проводит деконструкцию понятий: процедура “деконструкции” означает чтение текста вопреки его очевидному смыслу. Х. Уайт доказал, что историческое исследование и нарратив не исключают друг друга. Забавно, что в работе («Метаистория»), которую многие считают завершением лингвистического поворота, сам этот термин даже не упоминается. Возможно, этот парадокс связан с тем, что Уайта вдохновляла не столько философия языка, сколько теория литературы.

Время возникновения визуального поворота достаточно спорно. Его истоки можно увидеть еще на рубеже XIX–XX вв., когда технический прогресс дал новые возможности для эстетических новаций в науке и искусствах. Влияние визуального поворота на историческую науку современного рубежа веков очень серьёзно проявляется в расширении источниковой базы исторических исследований и в появлении новых сюжетов или новых аспектов прежних предметных полей в процессе изучения прошлого. (См. монографию И.В. Нарского «Фотокарточка на память: семейные истории, фотографические послания и советское детство». Челябинск, 2008)

На мой взгляд, обилие разнообразных «поворотов» привело к возникновению прагматического поворота, призванного в какой-то степени синтезировать их итоги. Идейным символом прагматической парадигмы нередко называют одного из самых значительных философов XX века – Поля Рикёра. Он предпочитал строго разграничивать эпистемологические проблемы истории от методологических проблем,

более близких к практике работы историка. Некоторый интерес российских историков к прагматизму Д. Хапаева объясняет возможностью «отдохнуть» от идеологии и от «химер великих нарративов» (Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переводов. М., 2005. С. 68).

В процессе анализа влияния методологических поворотов на гуманитарное знание возникает такое размышление: споры о них, безусловно, пробуждают интеллектуальные страсти, сочетая рациональные и эмоциональные доводы, что само по себе замечательно, независимо от результатов этих споров и этих поворотов. Кроме того, совокупность этих результатов снимает некоторую противоречивость самого понятия «интеллектуальные страсти».

В. И. Меньковский (Белорусский ГУ, Минск)

Советология как академическая историческая дисциплина (в защиту советологии)

В современном российском политическом дискурсе понятие «советология» приобрело политизированное значение и используется для обозначения дисциплины, обслуживающей нужды правительств западных стран и враждебно настроенной по отношению к России. К примеру, В.В. Путин, выступая в Колумбийском университете 26 сентября 2003 г., призвал упразднить советологию, имея в виду науку, служившую «инструментом, чтобы нанести друг другу как можно больше ударов, уколов и всяческого вреда» (Путин призвал американцев забыть слово "советология" / Грани.ру – 26.09.2003. Режим доступа: <http://www.grani.ru/Politics/World/US/RF/m.44813.html>). Д.А. Медведев в октябре 2008 г. на проходившей во французском городе Эвиане международной конференции заявил, что «советология, как паранойя – очень опасная болезнь» и «жаль, что ею по сей день страдает часть администрации США» (Дмитрий Медведев: Однополярный мир несостоятелен, советология – паранойя / 2020 – 08.10.2008. Режим доступа: <http://www.molgvardia.ru/nextday/2008/10/08/2097>).

Распад Советского Союза вызвал кризис советологии, дисциплины занимавшейся исследованием стран коммунистического блока. После исчезновения СССР как стратегического противника Запада, встал вопрос о целесообразности продолжения масштабного изучения региона. В англо-американской академической среде развернулись дискуссии о дальнейшей судьбе советологии. Одновременно начался процесс становления современного россиеведения, его вживание в научную и образовательную системы западных стран.

Дебаты о соответствии советологии критериям научности проходили в категориях обвинения и оправдания. Причиной вынесения на обсуждение вопроса о состоятельности дисциплины стала неспособность советологов предсказать распад СССР, из чего следовало предположение о непонимании ими природы советской системы и направленности ее

развития. Критика касалась как тоталитарной школы, доминировавшей в «советских исследованиях» в 1950-1960-е гг., так и ревизионистского подхода, пришедшего на смену тоталитарной парадигме в 1970-е гг.

Тоталитарная модель критиковалась за акцентирование внимания исключительно на проблемах государства и политического режима, отрицание возможности плюрализма в партийном аппарате и игнорирование проблем общества. Еще в 1985 г. С. Коэн писал: «Вообразив советскую историю лишенной противостоящих друг другу традиций и альтернатив, советскую политическую жизнь свободной от воздействия социальных факторов, а «монолитный режим» не знающим каких-либо значимых внутренних конфликтов, советология осталась со статичной концепцией застоявшей системы» (Cohen S. *Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917*. N.Y., 1985. P. 25).

Представители ревизионистского направления сместили акценты с изучения политического режима на проблемы общества и уделяли наибольшее внимание таким вопросам, как национализм, русификация, взаимоотношения элиты и масс, рост бюрократизации. Ревизионисты были настроены по отношению к СССР намного доброжелательнее, чем последователи тоталитарной модели. Послесталинский Советский Союз рассматривался ими как продукт эксперимента, в результате которого общество приобрело черты, присущие обществам Западной Европы и Северной Америки, и усилило давление на режим для переделывания его политического устройства в своих интересах.

Перенос западных теорий и представлений на советскую действительность сказался и на политологических исследованиях, где наиболее частыми характеристиками Советского Союза стали такие понятия, как «развитие», «авторитаризм» и «плюрализм». Сторонники такого подхода к изучению СССР верили, что построение социализма являлось всего лишь вывеской, за которой стояли банальные цели экономического развития. Что же касается политического устройства страны, то, как утверждали ревизионисты, сталинский тоталитаризм при последователях «великого вождя» сменился обычным авторитаризмом, а советская система управления вполне могла бы называться «институциональным плюрализмом», так как казалось, что различные учреждения и местные органы власти пользовались достаточной автономией от центра.

В 1990-е гг. встал вопрос о продолжении существования советологии. Часть исследователей полагала, что советология исчезла вместе с СССР. А. Ноув писал: «Невозможно быть советологами при отсутствии Советского Союза. Невозможно заниматься сравнением двух систем, если одна из этих систем исчезла». С. Хансон, рассматривая советологию применительно к современным исследованиям, полагал, что она перестала быть отдельной дисциплиной, а постсоветология влилась в основной поток политологии (Hanson, S. *Sovietology, Post-Sovietology, and the Study of Postcommunist Democratization // Demokratizatsiya*. 2003.

№ 1. P. 145). У. Лакер красноречиво назвал свою статью, подводившую итог «советским исследованиям», «надгробной речью над почившей в бозе советологией» (Лакер, У. Надгробная речь над почившей в бозе советологией // Новое время. 1992. № 31. С. 18-19).

Под вопросом оказалась адекватность дальнейшего использования термина «советология». Высказывались предложения сохранить название «советология» для изучения Советского Союза, сделав ее тем самым исторической дисциплиной. М. Буравой писал, что «советология по определению имеет дело с Советским Союзом и обусловлена его уникальностью, его формальными характеристиками. Их исчезновение означает, что советология в самом деле может только изучать прошлое» (Buravoy M. From Sovietology to Comparative Political Economy // Beyond Soviet Studies / Ed. by Daniel Orlovsky. Washington, D. C., 1995. P. 78). Однако консенсуса об адекватности использования термина применительно хотя бы к исследованиям Советского Союза так и не был достигнут.

Сегодня понятие «советология» по отношению к исследованиям современной России и других посткоммунистических стран не применяется. Если говорить об академических дефинициях дисциплины, то здесь не наблюдается единодушия. Ни одно из словосочетаний «российские исследования», «российские и восточноевропейские исследования», «евразийские исследования», «славянские исследования», «посткоммунистические исследования» не является зафиксированным названием исследований региона. Не получил распространения и термин «постсоветология», употреблявшийся преимущественно в дискуссиях о советологии и ее будущем и указывавший исключительно на временную преемственность. Однако если в 1990-е гг. проблема поиска подходящего обозначения имела некую остроту, то в настоящее время плюрализм в названиях стал приниматься как должное.

Г. П. Мягков (Казанский Федеральный университет)

Схоларные исследования российских ученых: в поисках новой модели научности*

Российское историографическое сообщество, начиная с рубежа XX-XXI вв., живет в ситуации *ожидания* и *подготовленности* к переменам в осмыслении феномена научной школы. Только конкретно-историческое, монографическое исследование позволяет приблизиться к научному решению проблемы той или иной школы в науке. Такими предстают вышедшие практически одновременно монографии

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, в рамках проекта № 10-01-00403а «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время».

Н.В. Гришиной (Гришина Н.В. Школа В.О. Ключевского в исторической науке и российской культуре. Челябинск, 2010. 288 с.), Т.Н. Ивановой (Иванова Т.Н. Научное наследие В.И. Герье и формирование науки всеобщей истории в России (30-е гг. XIX – начало XX века). Чебоксары, 2010. 382 с.), Д.А. Цыганкова (Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье и его ученики. М., 2010. 503 с.) и А.В. Свешникова (Свешников А.В. Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010. 408 с.). Названные книги – итог многолетних исследований авторов – являются и *выражением* указанной ситуации, и *ответом на нее*.

Изучив развитие дискуссий в отечественной науке об исследуемых школах, признании и непризнании их современниками и историографами, авторы зафиксировали, что доминирующей тенденцией предшествующих этапов историографии было отрицание феноменов «школа Ключевского», «школа Герье», «школа Гревса»: большинство историографов-предшественников не видели изучаемых школ как предмета исследования и не ставили перед собой задачи собственно науковедческого плана.

Но просто приложить к исследуемому предмету методики науковедения ныне уже недостаточно. Перед авторами, разумеется, стояли методологические задачи иного рода, чем перед историографами на рубеже XX-XXI вв. Тогда актуальными были разработка методологического инструментария и концептуального аппарата, адаптация науковедческих подходов к специфике гуманитарных наук, выработка современного понимания предмета историографического исследования. В условиях сдвигов, происходивших под влиянием новых методологических подходов к историческому исследованию (постмодернизм и микроистория, история ментальности и повседневности, культурная история), приоритеты были отданы культурологическому подходу с его практикой включения историографического знания в культурное пространство эпохи.

Н.В. Гришина, описывая образ школы В.О. Ключевского, исследует ее границы, пространственно-временную конфигурацию, вводит категории «*контуры*» и «*горизонты*» школы; делает выводы о ее структуре (ядро школы, круги учеников), о роли лидерского начала; предложены критерии определения персонального состава школы [анализ (1) отношений «учитель–ученик», (2) восприятия образа В.О. Ключевского, профессиональных и повседневных коммуникаций в школе его учениками и современниками; (3) саморефлексии ученых по поводу своей принадлежности к научному сообществу]; рассмотрен вопрос о влиянии традиций школы В.О. Ключевского на последующее развитие исторической науки; исследована социокультурная функция школы, проявившаяся на общественно-политическом поприще, в системе преподавания и воспитания, в разного рода взаимодействиях с миром культуры.

Т.Н. Ивановой доказано существование школы В.И. Герье как научно-образовательной, определены ее черты и конфигурация (границы «ядра» и «периферии»), основные этапы и особенности развития; проанализирован ее вклад в формирование всеобщей истории в России; впервые выделен алгоритм, выработанный Герье для подготовки молодых учёных, выявлены сложившиеся в школе способы внутриспоколенной и межпоколенной трансляции исторических знаний, навыков и умений, формирования неявного, личностного знания; произведена «антропологическая деконструкция» жизнедеятельности школы Герье, выявлены возникавшие явления внутришкольной конкуренции и рассмотрена роль научных конфликтов в процессе развития школы.

А.Д. Цыганков по сути синонимизирует школу Герье и Московскую историческую школу. Он ставит вопрос об общности русских и всеобщих историков Московского университета и об общности этой школы и Петербургской. При этом А.Д. Цыганков под школой понимает общую инфраструктуру исторического образования в университете, которую кроме Герье развивали С.М. Соловьев, Н.А. Попов, П.Г. Виноградов и следующие поколения профессоров университета. Автор находится в рамках того направления исследований, которые ставят проблемы существования различных сообществ историков во второй половине XIX – начале XX в., и изучает способы передачи знаний внутри этих сообществ (с. 23).

А.В. Свешниковым предпринята попытка комплексного историко-антропологического исследования научной школы, созданной И.М. Гревсом: выявлены и описаны факторы и формы деятельности лидера школы, предложена «антропологическая» теоретическая модель научной школы, в основе которой лежит понимание школы как малой социальной группы профессиональных ученых; обоснован новый принцип дифференциации различных типов консолидации научных сообществ, в рамках которого разведены понятия «научное направление» и «научная школа»; введено понятие «школообразующие практики», определены их виды, сложившиеся в среде петербургских медиевистов начала XX в.; установлено взаимодополняющее соотношение институционального и личностного фактора генезиса научной школы; определен основной набор неформальных коммуникаций, способствующих конструированию научной школы и формированию школьной идентичности; выявлены функции конфликта между учеными как фактора генезиса и функционирования научной школы.

Каждый из названных авторов ставил свою цель исследования и решал свой комплекс задач. Значение нового, открытого ими при изучении избранных феноменов – научных школ Ключевского, Герье, Гревса, отражающего черты индивидуального, состоит в том, что при «сдвигении» материалов, выводов и наблюдений мы получаем возможность достичь знания об общих тенденциях возникновения, развития, судьбах научных школ как единиц науки.

Много усилий авторы приложили, чтобы вернуть науке и обществу «забытые» имена, в числе которых оказались ученики Ключевского, Герье, Гревса. Это позволило, с одной стороны, увидеть «массовый» характер изучаемых школ, что становится принципиально важным не только для А.В. Свешникова в отстаивании предложенного им понимания школы как *социальной группы, конструируемой посредством школообразующих практик*, но и в целом для осмысления этого положения в качестве теоретического постулата. А с другой стороны, показать, что «тиражирование» в трудах учеников идей и концептуальных построений, выработанных профессиональным сообществом, становилось основой и для признания научной школы в научном сообществе, и для конструирования школьной идентичности.

Проанализированные монографии позволяют проследить движение, осуществляемое через реализацию принципа «дополнительности», от позитивистской модели научной школы, основанной на понимании научного сообщества как особой формы организации, определяемой коммуникационными связями, к *социокультурной* модели, в базе которой – предметное изучение научной повседневности, исследовательской лаборатории, широкого социокультурного контекста и пр. и выход на значимые, смысловые элементы деятельности субъектов научного сообщества (см.: Бурганова Л.А. Научное сообщество: объективная versus субъективная реальность? // Социальное конструирование реальности: опыт социологических исследований. Казань, 2010). В центр внимания ставится субъективно переживаемый самим действующим членом научного сообщества смысл его деятельности. Авторы, во-первых, способствуют методологическому обустройству «территории историографа» путем активной работы с зарубежными и отечественными концепциями методологии и социологии науки, во-вторых, своими конкретно-историографическими исследованиями закладывают основу для *нового теоретизирования и нового освящения «старых» проблем*, имеющих историографическую традицию.

Р. Ф. Набиев (Казанский юридический институт МВД РФ)

К вопросу о совершенствовании исторической концепции евразийского государства

Принципиальный недостаток отечественной истории связан с ее собственной (линейной) концепцией и базой (точкой отсчета). Российские ученые довольно часто оказываются в неудобном положении при общении с коллегами из братских стран, вынося оценочные суждения исходя из постулатов Московской, по сути, исторической школы. Российскому гражданину, изучавшему свою историю как набор аксиом, трудно привыкнуть, что иными народами они воспринимаются иначе. Российскому гражданину, ставшему политиком, также

трудно дается осознание, что привычное видение исторических процессов подчас оказывается неприемлемым для создания разумных или партнерских отношений. Во всяком случае, для формирования общности СНГ или Союзного государства значительная часть объема российской истории не может стать надежной основой.

Доминирующий характер в «евразийском коридоре» влияние Российской империи приобрело лишь с XVIII в. В ходе ознакомления с историями ряда народов Восточной Европы легко убедиться, что на протяжении тысячелетий судьбоносные события происходили в рамках иных культур. Векторы культурных и языковых заимствований располагались иначе, а исторически недавнее возвышение Москвы в значительной мере, определялось «внешними» факторами, но при этом многие из них развивались на территории нашей страны (Россия, СССР, СНГ, т.е. Евразийская империя).

Создается впечатление, что используемая в нашей стране концепция Отечественной истории культивировалась скорее для сокрытия корней и истоков, чем для их изучения. Свобода научных исследований отечественных историков вытеснялась (в пространстве) на юг и восток – в востоковедение и на запад – в зарубежную историю. Выводы ученых этих отраслей по одним и тем же событиям, порой не совпадают.

Протяженность Евразийской державы и ее поликультурный характер породили целую плеяду ученых и социологов, создавших на протяжении XIX–XX вв. основы для синтеза истории культур и государств Евразийской державы. Однако она до сих пор не сформирована. В то же время к построению истории с наднациональным характером одновременно с различных сторон движутся Европа, Китай, США.

Верно ли рассматривать совокупность жителей нашей планеты как реальную суперсистему? Допустимо ли говорить об историческом процессе в отношении человечества в целом? Эти вопросы возникли, конечно, не сегодня. Однако в связи с процессами глобализации они начинают приобретать дополнительную актуальность. Для глобального сообщества необходима и глобальная история.

Элита Европы уже с XIX в., с обретением мирового лидерства начала ощущать единство интересов и ценностей. Осмысление итогов мировых войн XX века привело интеллигенцию ведущих стран Европы к необходимости интеграции и формирования общеевропейского сознания. Вслед за объединением Европы стал набирать обороты процесс создания **общевропейской** (цивилизационной) **истории**.

Ряд зарубежных (Frank A.G., Gills B.K., Wallerstein I., Chase-Dunn C., Hall T.D., Bertalanffy L.) и отечественных (Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А., Гринин Л.Е. и др.) ученых, работающих на стыке философии, социологии и истории считают целесообразным рассмотрение процессов в рамках «мир-системы», порой, отказываясь от ставшего уже традиционным «цивилизационного» подхода при анализе исторических процессов.

Какой нам видится История Отечества? Это история Евразийской общности, в рамках которой поэтапно рассматривается история Страны через призму господствующих на рассматриваемом этапе этносистем и государств. Остальные регионы и культуры рассматриваются как фоновый материал и факторы, оказывавшие влияние на основные доминанты развития. Ни одна из национальных историй при этом не исключается, напротив, более выпукло будут вырисовываться основные тенденции, взлеты и падения, элементы трансгрессии и изоляционизма.

Достоин внимания китайский пример. В более близкой к природе нашей страны китайской истории все разноэтнические династии и государства рассматриваются как китайские. То есть для них цивилизационный, «мир-системный» и глобальный подходы до недавнего времени безболезненно совпадали. Какой-либо «пекинский» или «нанкийский» подход отсутствует.

При этом следует отметить, что в настоящее время сформировались благоприятные для синтеза подлинно научной концепции внешние и внутренние условия:

- высокий уровень образованности общества,
- большой объем работы, проведенной историками «деструктивного плана» по слову традиционных взглядов и стереотипов: многие историки допускают, а значительная часть населения уверена в ущербности исторической концепции ранней истории страны и возможности ее совершенствования;
- отсутствие жестких догматических установок среди правящей элиты, религиозного фанатизма масс;
- существенные успехи «вспомогательных исторических» и естественнонаучных дисциплин, позволяющих строить новую концепцию на достаточно существенной базе данных;
- отсутствие враждебного окружения и идеологической оппозиции;
- глобальные проблемы и вызовы, которые можно разрешить лишь совместными усилиями многих народов и стран.

Этими предпосылками, на взгляд автора, обусловлены некоторые «подвижки», которые могут оказать существенное влияние на формирование подлинно научной концепции исторического развития народов «Евразийского степного коридора».

Поводом для пересмотра концепции может стать, например, событие, оставшееся незамеченным большинством населения РФ: официальное *внесение болгар в перечень народов* для проведения всероссийской переписи. Мощная цивилизация, породившая ряд империй, до сих пор не имеет «официальной прописки» в России. Не рассматривался, даже в общих чертах, вопрос о влиянии культуры ранних болгар на предков современных народов. Весте с тем, учет болгарского этапа в истории Восточной Европы сразу может сразу вывести локальную московскую историю на уровень одного из продолжателей древнейшей культуры, связывая «Историю России» в единое це-

лое с иными историческими концепциями. История Евразийской державы, рассматриваемая на протяжении тысячелетий, полностью отвечает критериям «мир-системного» подхода.

При этом мы не стремимся свести необходимость дальнейшего совершенствования всех отраслей истории лишь к этому направлению. Историсофские, социальные и иные аспекты «клиодинамики», безусловно, также ждут своего реформатора. Более того, автор полагает, что целый ряд новых веяний в теории методологии (например, т.н. «микроистория»), напротив, найдет более широкую сферу применения в рамках более масштабных исследований.

Историческая концепция, адекватно отражающая прошлое Евразийской державы способна предоставить в распоряжение общества дополнительные способы и средства воздействия на быстроменяющуюся обстановку. Она способна сформировать мировоззренческую основу для создания подлинно равноправного и устойчивого сообщества государств и народов в рамках СНГ или обновленного Союза.

Т. А. Набокина (Челябинский ГУ)

Председатели уральских ГУАК: полномочия и творческий потенциал

Наиболее популярной краеведческой организацией Урала второй половины XIX – начала XX в. была губернская учёная архивная комиссия (ГУАК), инициатором создания которой выступил русский историк, археограф, архивист академик Николай Васильевич Калачов (1819 - 1885). В Уральском регионе она была образована в Оренбурге (1887), Перми (1888), Вятке (1904) и Уфе (1916). В состав комиссии входили председатель/секретарь, попечитель, почётные и действительные члены. Все они являлись представителями местного чиновничества и интеллигенции.

Непременным попечителем комиссии являлся губернатор. Возглавлял ГУАК избираемый голосованием председатель/секретарь Комиссии. Эта должность отличалась долговременностью пребывания в ней. Ротация председателей была низкой. За весь период существования уральских ГУАК (1887–1918 гг.) Оренбургскую и Вятскую возглавили четыре человека, Уфимскую – два. Наибольшую сменяемость демонстрирует Пермская ГУАК – 10 председателей за 30 лет. Связано это было со сложностью должности, а также с высокими требованиями к кандидатам, т.к. эффективность работы любой организации во многом зависела от её руководителя.

На выбор кандидата в председатели влияли наличие руководящего опыта, обязательного высшего образования, а также его личная заинтересованность в научной работе. Как правило, они одновременно состояли членами нескольких научных организаций. Следует учиты-

вать узость круга провинциальной интеллигенции. Ключевые фигуры научного сообщества стояли у истоков основных научных организаций и одновременно, как правило, занимали государственные должности, осуществляли непосредственные связи с официальными структурами. Отсюда исходит широта круга обязанностей секретаря.

В «Положении об учреждении губернских учёных архивных комиссий и исторических архивов» обозначались основные функции действительных членов организации (Писарькова Л.Ф. ГУАК: организация, численность и условия деятельности). Связаны они были, прежде всего, с архивом (Труды ОУАК. Вып. 2). «Положение» не оговаривало ряд важнейших вопросов, таких как организационная структура комиссий, их правовой статус, финансовое обеспечение. Именно поэтому некоторые исследователи видят в ГУАК «полуофициальное – полуофициальное» местное общество (Вечтомова Ю.Е. Киров, 2006).

К тому же, это объясняется необязательным порядком их образования – не по директиве сверху, а по предложению губернаторов. Во-вторых, ГУАК не имели регулярного и полного государственного финансирования; в-третьих, работа членов комиссий выполнялась на общественных началах. В то же время деятельность комиссий протекала в достаточно жестких рамках, определенных официальными документами, курировалась Министерством внутренних дел и Министерством народного просвещения.

Секретарь должен был постоянно «выискивать» средства для содержания помещения комиссии, для выплаты жалования членам комиссии и остальным работникам организации, для издания сборников. Так, избранный 5 марта 1890 г. председателем ОУАК генерал-лейтенант, начальник штаба Оренбургского казачьего войска Павел Петрович Бирк (1836–1900), понимая всю ценность исторического материала, через 6 лет выхлопотал у МВД приобретение помещения для архива. И.С. Шукшинцев подчеркивал его личный пример в работе (Труды ОУАК. Вып. 6). По инициативе П.П. Бирка был создан музей.

Важная роль отводилась издательской деятельности комиссии. Первые четыре выпуска «Трудов» ПУАК редактировал председатель ГУАК А.А. Дмитриев, затем В.С. Малченко, во время руководства которого (1902-1905) издательское дело стало одним из ведущих в работе комиссии. Кроме того секретарь занимался издательством и редактированием неофициальной части «Губернских ведомостей». Уже первый председатель ОУАК П.Н. Распопов (1834-1893), занимался редактированием неофициальной части газеты «Оренбургские губернские ведомости» (ГАОО. Ф. 164. Оп. 1. Д. 89).

Со временем комиссии приобрели просветительский характер. Научная деятельность секретарей начиналась сразу после вступления в эту должность. Именно секретарь комиссии придавал официальную общественную значимость работам любителей (Первушкин В.И. Становление и развитие провинциального краеведения в России во второй

трети XIX – начале XX в.). Часто личные пристрастия ее руководителей отражались на работе комиссии. Так, когда Пермскую ГУАК возглавлял Н.Н. Новокрещенных (с ноября 1893 г.), деятельность ее переклонила с архивных дел на археологические изыскания и выставки.

Председатель играл роль объединителя разрозненных местных любителей старины для масштабных работ по изучению и разработке местной истории, как основания для понимания общей русской истории. Разнообразная научная и общественная работа секретарей уральских ГУАК составила настоящую эпоху в истории Оренбургской, Пермской, Вятской и Уфимской губерний. Председатели объединили талантливых любителей истории своего края, из которых выросла плеяда самостоятельных исследователей. Это известные историки и краеведы А.А. Дмитриев, Д.Д. Смышляев, В.Н. Шишонко (Пермь), А.В. Попов, С.Н. Севастьянов, П.Н. Столянский, И.С. Шукшинцев (Оренбург), А.С. Верещагин, В.Д. Емельянов, А.А. Спицын (Вятка) и др. Именно председатели сделали ГУАК научным и культурным центром края.

И. В. Нарский (Южно-Уральский ГУ, Челябинск)

Приглашение к «лирической историографии», или об одной тенденции в современном историописании

1. Тенденция, о которой пойдет речь в данном выступлении, состоит в наметившейся в последние десятилетия среди поборников новой культурной истории в различных ее ипостасях (история повседневности, опыта, памяти, эмоций, дискурса, визуальности и пр.) тенденции к контролируемой инструментализации личного опыта исследующего субъекта в качестве важного средства научного творчества. Симптомами этой тенденции выступают: интенсивная рефлексия о ремесле историка как о работе по конструированию, а не реконструкции прошлого; желание сменить взгляд на прошлое из «царской ложи», или «с высоты птичьего полета» в пользу равноправного диалога со своими героями из прошлого; стремление придать научному тексту литературных достоинств; изложение в тексте не только результатов, но и самого процесса исследования.

2. В отношении недавнего прошлого проблема рефлексии историка резко повышается, поскольку он сам оказывается частью той культуры и традиции, которую изучает. Точнее, объект исследования прямо или опосредованно является частью индивидуальной биографии исследователя. Как в таком случае обезопасить исследовательскую работу от превращения личного опыта и социальной позиции ученого в универсальную и якобы объективную истину, в позицию «абсолютного наблюдателя»?

3. Для подобного подхода имеется теоретическая основа. В исследовательской инструментализации субъективности можно эффек-

тивно опереться на концепт «диалектической объективности» (А. Мегилл), состоящей в сложном взаимодействии исследователя с конструируемым им объектом исследования, которое не исключает субъективность, а опирается на нее как на необходимую познавательную силу. На теоретическом уровне этот подход наиболее убедительно осмыслен в рамках представления о «предубеждениях» Х.-Г. Гадамера, концептуализации исторической науки как формы самопознания Э. Кассирером, этнологического концепта «здорового смысла» (К. Гирц) и «уликовой парадигмы» (К. Гинзбург).

4. Исследование относительно недавнего прошлого, будь то история советского детства или культурных практик Холодной войны, представляется одной из наиболее подходящих экспериментальных «площадок» для целенаправленной апробации такого подхода, который я бы обозначил как «лирическая историография». Ее принципиальной установкой могло бы стать наличие в тексте фигуры активного автора – не бесстрастного арбитра, а заинтересованного участника исторического процесса, создающего эффект реальности и одновременно раскрывающего технологию его создания, провоцирующего читателя на сопереживание и дискуссию, словом – обнажающего и использующего свой личный опыт в контролируемом исследовательском процессе и изложении его результатов.

Н. И. Недашковская (РГГУ, Москва)

«Воображение» и «историческая реальность»: познавательные стратегии романтического славяноведения

Интеллектуальная культура эпохи романтизма занимает в интеллектуальной истории Европы одно из ключевых мест – между длительным периодом непрофессионального знания (протонауки и других форм знания, любительской науки и пр.) и позитивизмом, в дискурсах которого профессионализация знания достигла своего логического предела. Несмотря на популярность в общественном сознании отдельных достижений романтизма, прежде всего, художественных и историко-философских, наследие романтиков комплексно не изучалось и до настоящего времени не проблематизировано как феномен интеллектуальной истории Европы, хотя многие введенные романтиками принципы конструирования и организации знания, в т.ч. и знания о прошлом, определили облик гуманитарных наук более чем на столетие. Основные достижения романтизма, созданная в эту эпоху культура интеллектуальной деятельности и жизни остаются актуальными и жизнеспособными, присутствуют в системе этических и интеллектуальных кодов европейских обществ до настоящего времени.

Право и возможность философии и философствования исторической науке, как и филологии, а также прочим «вспомогательным»

(комментирующим тексты) дисциплинам, было подарено именно интеллектуалами романтизма. Их концепция истории и оценка предметного поля дисциплин, работающих с текстами прошлого, позволили ввести в эмпирические исследования представление о высшем духовном основании процесса сцепления фактических случайностей, наличии некой цели исторического процесса, что неизбежно провоцировало опыты проектирования различных методологических моделей, в той или иной степени реализованных затем на практике. Стержнем таких моделей в большинстве случаев оказывались когнитивные стратегии, связанные с осмыслением репрезентации исторической реальности как основной цели наук, изучающих прошлое. Среди данных стратегий наиболее мифологизированным и востребованным в последующих методологических штудиях оказалось воображение как универсальная способность человеческого сознания к построению новых целостных образов реальности путем переработки содержания сложившегося практического, чувственного, интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта.

Роль воображения в исторических исследованиях различных периодов неоднократно становилась предметом осмысления теоретиков исторической науки. Однако некоторые ее отрасли до настоящего времени остаются не только не проанализированными в данном ракурсе, но и не отрефлексированными ни извне, ни изнутри. Таковой предстает история методологических поисков российской славистики эпохи романтизма, что особенно интересно, поскольку в этот период собственно историческая наука и, в частности, всеобщая история в России еще подходила к стадии профессионализации, т.е. славистика была наукой, в полной мере «обращенной на запад».

Вслед за немецкими идеалистами, прежде всего Кантом и В. фон Гумбольдтом, европейские и российские слависты определяли воображение как познавательную стратегию, дающую возможность связывать воедино «факты» исторической случайности и осуществлять конструирование образов прошлого. При этом европейские слависты использовали данную стратегию преимущественно в эмпирическом поле науки и в публицистике (см.: Macura V. Znameni zrodu. Cesko obrozeni jako kulturni typ. Praga: Ceskoslovenskyi spisovatel, 1983. 540 s.; Kulecka A. Miedzy slowianofilstwem a slowianoznawstwem. Idee slowianskie w zyciu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856. Warszawa, 1997. 232 s.), а российским последователям Гумбольдта удалось ввести воображение в методологическую конструкцию комплексного метода сравнительно-исторического исследования славянских языков и культур. В теоретических предисловиях к текстологическим, лексикографическим, этнографическим и прочим трудам А.Х. Востоков и ряд его последователей, принадлежавших к первому поколению университетских славистов, «прописывали» правила исторической реконструкции при помощи воображения, позволяющего работать не только со свидетельствами прошлого, но и с их

отсутствием, воссоздавать представления, систему ценностей людей прошлого и т.д. Тем самым в теоретической мысли славистики закреплялась и легитимировалась роль исследователя как творца или конструктора своего аналитического объекта – славянского мира. Вчувствование, сопереживание, погружение (научные путешествия), интуиция – техники, позволившие теоретикам романтического славяноведения «вживить» первичные эмпирические исследования в теоретическую модель типологического родства славянских языков и культур. В программах научных путешествий в славянские земли, разработанных первыми университетскими славистами, присутствует отрефлексированная установка на идентификацию исследователя с тем «Другим», которого предстоит открыть. Отсюда был сделан выход на такие теоретические проблемы как нереализованная история, история будущего, проблема ментальной дистанции историка и его объекта (на материале средневековой истории славян), что говорит о наличии если не мета-языка, то мета-сознания российской историографической мысли 1830-х – 1840-х годов. Можно также утверждать, что важнейшие открытия общеевропейского значения, сделанные российскими славистами, состоялись именно на этой методологической основе – так было выяснено происхождение церковнославянского языка, раскрыта тайна юсов, создана историко-генеалогическая типология славянских языков и диалектов, реконструирована средневековая история славянских народов, не имевших собственного государства на момент их изучения. На той же основе Востоковым была создана славянская палеография.

Чрезвычайно важен в связи с этим вопрос о «взаимоотношениях» славистов-романтиков с «исторической реальностью», «историческим фактом», историческим источником и текстом. Наличие знаменитых мистификаций памятников (что стало, по сути, «приметой времени») только подтверждает значимость этого вопроса. Слависты-романтики в полной мере продемонстрировали значимость источниковой базы исследования, использующего историческое воображение, и те различия между исторической и текстовой реальностью, которые в XX в. будут активно обсуждаться в теории истории. Теоретические введения к исследованиям и курсам лекций славистов филологии обосновывают цель реконструкции образа прошлого на основе максимально обширного корпуса источников самых разных типов и в контексте знаний и методик смежных дисциплин, чем объясняется чрезвычайно широкое коммуникативное пространство славистики, «перекрестная» критика текстов источников и общеизвестные конфликты внутри славистики, когда над-институциональное научное сообщество указывало профессионалам на чрезмерный «интерес» к идеологическому значению тех или иных памятников и недобросовестность интерпретации (европейские и российские слависты – В. Ганка, А. Востоков – И. Добровский, А. Востоков – М. Погодин, Н. Петровский – В. Ламанский и Я. Грот и пр.).

Методологическая модель, предложенная А.Х. Востоковым и его учениками была существенно упрощена и деформирована следующим поколением славистов, уже не принадлежащих эпохе романтического познания и эксплуатировавших воображение в его «усеченном» варианте, преимущественно как способ производства идеологем. Комментарии дисциплины (палеография, текстология, лексикография) сохранили до настоящего времени исследовательские техники, но во многом утратили глубину «романтических» целевых установок в исследовании текстов прошлого. И вполне закономерно, что открытия, сделанные российскими славистами-романтиками, остались самыми фундаментальными достижениями этой науки, задавшими направления исследований на два столетия вперед.

Ф. В. Николаи, А. В. Хазина (Нижегородский ГПУ)

**«Ни французженка, ни американка»:
кросс-культурные исследования Ш. Фелман
между структурализмом и деконструкцией**

На одной из фотографий, размещенных в недавно изданной антологии текстов Шошанны Фелман, она запечатлена между Жаком Лаканом и Полем де Манном во время визита первого в США в 1975 г. Вполне дежурный снимок передает эклектично-демократичную атмосферу научных конференций. Три человека – три совершенно разных костюма. Пиджак слегка вздохмаченного де Манна застегнут на верхнюю пуговицу, брюки помяты, галстук немного сдвинут набок; Лакан, напротив, блистает в одном из своих экстравагантных костюмов: сложная мерцающая клетка блистает буквально. Фелман в свитере со скандинавским рисунком а *lá naïf*, белой юбочке $\frac{3}{4}$ – воплощение студенческой атмосферы середины 70-х, которая еще, возможно, не совсем утратила дух 69-го. Де Манн нежно держит за правый локоток Фелман, которая левым плечом прижалась к плечу Лакана. Рук Лакана не видно.

В это время 74-летний лидер французского психоанализа находится в зените своей славы: ученики и современники сравнивают его величие с Фрейдом; все известнейшие французские мыслители и деятели искусств – его друзья, ученики и пациенты; а его доход как аналитика достигает 4 млн. франков в год (Дьяков А.В. Жак Лакан. Фигура философа. М., 2010. С. 316). И главное, во всем мире его справедливо признают лидером структурализма, набирающего популярность во всех сферах гуманитарного знания. Де Ман к середине 1970-х гг. тоже академическая звезда мирового уровня - крупнейший авторитет в мировой литературной критике, один из организаторов Йельской школы деконструкции и «French studies». На фоне этих титанов Фелман, которой еще нет тридцати и которая лишь недавно защитила докторскую диссертацию, кажется всего лишь ученицей.

Снимок имеет протокольную подпись на английском: «Фелман с Полем де Манном и Жаком Лаканом во время визита Лакана в Йельский университет в ноябре 1975». Однако, визуальные обстоятельства и само имя Шощанны Фелман таковы, что ассоциации с апокрифом (Дан. 13), облюбованным классической живописью (Тинторетто, Рубенс, Доре...), почти неодолимы: перед нами словно бы модернистский вариант библейского сюжета «Сусанна и старцы».

Кроме того, этот любопытный кадр можно рассматривать как воплощение интеллектуальной позиции Фелман: целый ряд ее текстов напрямую посвящен де Ману и Лакану – этим «властителям дум» поколения 1970-х гг., – а в ряде других она осознанно использует их идеи в своей литературной критике (Felman S. *After Apocalypse: Paul de Man and the fall of silence* // Felman S., Laub D. *Testimony: crises of witnessing in literature psychoanalysis and history*. N.Y., 1992. P. 120-164; Felman S. *Writing and madness: literature/philosophy/ psychoanalysis*. Stanford U. P., 2003. P. 7; Felman S. *Jacques Lacan and the adventure of insight: psychoanalysis in contemporary culture*. Harvard U.P., 1987. P. 5). При чем если в целом как в Европе, так и в США деконструкция вытесняет структурализм, то Фелман, казалось бы, наоборот, из ученицы де Мана становится активной сторонницей лакановского структуралистского психоанализа (*The claims of literature: a Shoshana Felman reader*. / Ed. by E. Sun, E. Peretz and U. Bare. Fordham U.P., 2007. P. 6-8).

Однако не слишком ли поверхностна подобная интерпретация? Не является ли фотография лишь оптической иллюзией, упрощающей противоречивую, состоящую из гетерогенных элементов реальность? Справедливо ли считать тексты Фелман лишь «пересказом» идей ее учителей (особенно учитывая ее внимание к специфике женского чтения)? И главный вопрос для нас: как столь мощное интеллектуальное влияние и педагогический пафос самой Фелман сочетаются с ее стремлением говорить именно своим голосом?

Во многих работах Фелман декларирует важность кросс-культурного диалога (между Францией и США; английским и французским языком; галльским и англо-саксонским контекстом; Америкой и Европой, структурализмом и деконструкцией). Так, например, говоря о Г. Джеймсе и его частых поездках в Европу, Фелман замечает: «Я тоже стремлюсь писать так, чтобы со стороны невозможно было сказать: француженка ли я, пишущая об Америке, или американка, пишущая о Франции. (Хотя так случилось, что я ни француженка, ни американка)» (Felman S. *Writing and madness*. P. 18). Однако за этим внешне прозрачным утверждением скрывается ряд лишь косвенно обозначаемых и вообще неартикулируемых моментов. Что значит «ни француженка, ни американка»?

Окончив университет в Иерусалиме, Фелман работала над первой диссертацией о Стендале под руководством Жана Старобинско-

го, и лишь потом защищалась в Гренобле. Проблема национальной идентичности и роли Холокоста в передаче опыта между поколениями хотя бы косвенно будет фигурировать в ее поздних текстах. Однако Старобинский вообще не упоминается ни в одной работе Фелман. Его фигура оказывается вытеснена из ее текстов, а его идеи оспариваются по всем направлениям.

В этом контексте фелмановская концепция «скандала» – аффективного перформатива, действующего не только речь, но и все поведение человека, его психо-эмоциональную сферу и даже его тело – приобретает дополнительные коннотации. «Скандал» одновременно что-то провоцирует и проясняет, меняет актора и окружающий его мир, но при этом он затемняет или срывает свой исток – вытесняет некое Событие на уровень аффективно отвергнутого и неартикулируемого.

Возвращаясь к фотографии, можно сказать, что она отчетливо демонстрирует некий отдельный жест – некий поворот в позиции Фелман, стремление к перформативному изменению мира посредством смены круга чтения и языка. Однако истоки этого поворота скрываются автором. И в этом Фелман представляется человеком модерна. (Ж. Старобинский, кстати, считал одним из ключевых процессов модерна замену тактильных и социальных контактов фигуральными) (Старобинский Ж. Пoesия и знание: история литературы и культуры. М., 2002. Т. 1. С. 243-244). Однако можно привести и другую цитату, принадлежащую М. Фуко, к текстам которого периодически обращается Фелман. Говоря о чувствительности модерна, он пишет: «В первую очередь она связана с понятием скандала или соблазна. Изоляция в самом общем своем виде объясняется — или, во всяком случае, находит оправдание – в намерении избежать скандала. И это свидетельствует, что в сознании зла произошла важная перемена. Ренессанс позволял неразумию в любых его формах свободно разгуливать при свете дня; огласка наделяла зло силой примера и искупления. <...> Напротив, изоляция обнаруживает такую форму сознания, для которой все человеческое вызывает лишь чувство стыда. У зла есть заразительные стороны, представляющие сильнейший соблазн, а потому любая огласка может умножить их до бесконечности. Уничтожить их под силу только забвению» (Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб, 1997. С. 156). То есть в самом обращении Фелман к «скандалу» она стремится избежать изоляции, вытеснить, но не уничтожить память о прошлом. («Не забыть забыть Лампе», как писал Кант). И в этом Фелман – исследователь не просто модерна, но именно XX века.

Оглядываясь на интеллектуальную эволюцию и научную траекторию исследовательской мысли Шошанны Фелман, можно обнаружить, что упомянутый в начале снимок парадоксальным образом инверсирует апокрифический библейский сюжет: не старцы «подглядывают» за Сусанной, а Сусанна «подглядывала» за старцами.

**Об изучении пенсионных отношений населения
горнозаводского Урала в пореформенный период**

Интерес к изучению этой проблемы имеет давнюю историографическую традицию с той особенностью, что авторы, дававшие в своих трудах материалы по Уралу, фактически оставались в контексте дореволюционной историографической традиции, исследовавшей характер труда в горной и горнозаводской промышленности Урала (Котляревский И.П. Заметки об уральском горном хозяйстве. СПб., 1870; Чернов Д.К. Взгляд на положение железных заводов Урала // Записки русского технического общества. СПб., 1881. № 1; Весновский В.А. Рабочий вопрос на Урале. Екатеринбург, 1897; Орловский М.П. За двести лет: очерки по истории горнозаводского Урала. Екатеринбург, 1907; Фармаковский С.П. Горнозаводские дела Урала. СПб., 1909; Митинский А.Н. Горнозаводской Урал. СПб., 1909; Озеров И.Х. Горные заводы Урала. М., 1910; Адамов В.В. Об оригинальном строе и некоторых особенностях развития горнозаводской промышленности Урала // Вопросы истории капиталистической России. Свердловск, 1971); интерпретировавшей зарубежный опыт административного и нормативно-правового регулирования производственной деятельности в базовых отраслях экономики (Орлов П.А. Вопросы социального обеспечения и рабочего страхования в «Горном журнале» за 20 лет (1850–1870 гг.) // Историко-культурное наследие: новые открытия, сохранение, преемственность. Березняки, 1999; Он же. К вопросу о рабочем страховании и социальном обеспечении на горнозаводском Урале в середине XIX века (опыт историографического обзора) // Вестник ЧелГУ. Сер. 1: История. Челябинск, 1999. № 2); изучавшей российскую практику разработки и реализации фабричного и страхового законодательства (Латынин В. Несколько слов об отчетности на казенных уральских заводах и вообще основных заводских отчетах // Горный журн. СПб., 1863. № 6; Насселович Л.М. История заводско-фабричного законодательства Российской империи. СПб., 1883-1884. 2 т.; Кобеляцкий А.И. Полный сборник указов о найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры; о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих; о фабричной инспекции и о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности. СПб., 1898; Литвинов-Фалинский В.П. Как и для чего страхуются рабочие. СПб., 1904; Балицкий С.Г. Фабричное законодательство в России. М., 1906; Лунц М.Г. Из истории фабричного законодательства, фабричной инспекции и рабочего движения в России. М., 1906; Ковалев П.Е. О практике применения к горнозаводским предприятиям за трехлетие (1904-1906 гг.) закона 2.06.1903 г. // Горный журн. СПб., 1909. № 1; Триполитов М.Н. К вопросу о страховании рабочих. СПб., 1910; Нолькен А.М. Законы о вознаграждении за увечья и смерть в про-

мышленных заведениях частных, общественных и казенных. СПб., 1911; Александровский Ю.В. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев. СПб., 1913; Шелымагин И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России. М., 1947; Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в области промышленности в 20-50 гг. XIX в. М., 1968; Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России 1861-1917 гг. М., 1972; Рыбаков Ю.А. Промышленное законодательство России первой половине XIX в. М., 1986).

Однако в работах по экономической и социальной истории горнозаводского Урала зафиксированы лишь формальные стороны отношений патронажа, которым практически повсеместно следовали как *казенные*, так и *частные* заводоуправления в отношении к бывшим работникам заводов и их семьям (Гаврилов Д.В. Рабочие Урала в период доомонополистического капитализма (1861-1900). М., 1985; Голикова С.В. Семья горнозаводского населения Урала XVIII-XIX веков. Екатеринбург, 2001). В некоторых исторических трудах (Железкин В.Г. К вопросу о роли горнозаводских товариществ казенных горных заводов Урала // Развитие промышленности и рабочего класса горнозаводского Урала в досоветский период. Свердловск, 1982; Алферова Е.Ю., Юдина Л.С. Социальное страхование рабочих Урала (конец XIX в. - 1917 г.) // Социально-экономическое и правовое положение рабочих Урала в период капитализма 1861-1917 гг. Свердловск, 1990; Ашмарина С.В., Бородкин Л.И. Травматизм и страхование горнозаводских рабочих в России в начале XX в.: количественный анализ // Экономическая история. Обзорение. М., 2003. Вып. 9) «введение» горнозаводских товариществ на *казенных* горных заводах Урала трактовалось исключительно как создание дополнительного административного рычага воздействия на массы горнозаводских рабочих, в конечном счете, сыгравшего роль «изощенного средства капиталистической эксплуатации».

Поэтому (Орлов П.А. Правовые и организационные особенности пенсионного обеспечения горнозаводского населения Южного Урала накануне и в пореформенный период // Промышленность Урала в XIX-XX веках. М., 2002; Он же. Модели пенсионного обеспечения на горнозаводском Урале в контексте индустриального процесса рубежа XIX-XX вв. // Урал в контексте российской модернизации. Челябинск, 2005; Он же. Корпоративный традиционализм как инновационная стратегия: факторы пенсионных отношений в условиях частного горнозаводского хозяйства на Южном Урале во второй половине XIX века // Вестник ЮУрГУ. Серия экономика. Челябинск, 2005. № 12(52); Он же. К вопросу о состоятельности корпоративной пенсионной системы в реформируемой отрасли (по материалам суда о растрате в Златоустовском горнозаводском товариществе в 1877-1884 гг.) // История идей и история общества. Нижневартовск, 2007) методологически важным и необходимым в контексте названной темы нам кажется обращение:

а) к исследованиям по проблематике «локальной истории» (Архангельский С. Локальный метод в исторической науке // Краеведение. М., 1927. № 2; Грум-Гржимайло В.Е. Из жизни металлурга, рассказанной им самим. Екатеринбург, 1994; Алеврас Н.Н. «Заперты мы на заводе»: локальный мир горнозаводской культуры дореволюционного Урала. URL: <http://www.newlocalhistory.com/bookshelf/?tezis=nlhvyp1=30=46>; Гамаюнов С.А. Местная история: проблемы методологии // Вопросы истории. 1996. № 9), позволяющим идентифицировать реализованную Горным департаментом принципиальную отраслевую избирательность и более чем 30-летнюю последовательную практику учреждения системы добровольных страховых пенсий;

б) к занимающим собственное место в историографии темы некоторым советским исследованиям, например, к статьям В.Е. Четина (Четин В.Е. О Златоустовских стачках 1897 г. // Из истории Южного Урала и Зауралья. Челябинск, 1971. Вып. 5; Он же. О горнозаводских товариществах на Златоустовских заводах // Восьмые Бирюковские чтения. Челябинск, 1988), описавшего появление крупнейшего Златоустовского товарищества;

наконец, в) к работам по истории российской благотворительности (Lindenmeur A. Poverty is not a Vice. Charity, Society and State in Imperial Russia. Princeton, 1996; Фомин Э.А. Благотворительность: дискуссионное поле и исследовательские задачи // Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. Ежегодник. СПб., 2001; Соколов А.Р. Российская благотворительность в XVIII-XIX вв. (к вопросу о периодизации и понятийном аппарате) // Отечественная история. 2003. № 6; Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи, XIX - начало XX века. М., 2005), содержащим, - помимо нетривиального понимания сложного феномена «хозяйского благопопечения» даже не конкретных уральских заводчиков, а «получивших от них экстраординарные полномочия в распоряжении заводским действием *окружных управляющих и конторских*», - еще и достоверное указание то, как заводовладельцы воспринимали и оценивали «примерное качество и обстоятельства отсутствия угроз безвозвратной гибели финансовых активов» (ГА Свердловской обл. Ф. 24. Оп. 20. Д. 2303. Л. 11-11об.) системы горнозаводских товариществ *казенных* заводов.

Я. Н. Рабинович (Саратовский ГУ)

Неизвестный труд Г. А. Замятина о Смутном времени

В неопубликованной работе «Борьба за освобождение русских городов из-под власти шведов в 1613-1614 гг.» Германа Андреевича Замятина (1882-1953) охарактеризованы события Смуты, связанные с малыми городами Северо-Запада. С этой работой была знакома К.Н. Сербина, которая благодарил ее автора в своей монографии о

Тихвинском монастыре (1951 г.). Но до 2010 г. обнаружить этот труд не удавалось. Длительное время он хранился в Перми у внучки историка Елены Борисовны Замятиной, которая в мае 2010 г. передала его для публикации в Великий Новгород историку-краеведу А.Н. Одинокovu.

По-видимому, ученый трудился над этой монографией, которую он называет «статьей» (объем 6 п. л.) свыше десяти лет «Пермского периода» - самого плодотворного периода своей жизни, постоянно дополняя ее. Здесь мы найдем ссылки на труд К.Н. Сербиной о Тихвине (1951 г.), ряд работ 1948-1950 гг. (труды И.П. Шаскольского, С.Н. Орлова, И. Грабаря). Проживая в Перми с 1938 г., Г.А. Замятин работал с копиями документов, которых у него было не меньше 500 и с разными выписками. По словам ученого, «их, наверно, будет до 1000».

Созданное исследование не потеряло своего значения и в настоящее время. Г.А. Замятин смог максимально подробно осветить все этапы борьбы за Старую Руссу, Порхов и Гдов в 1613-1614 гг. И лишь в последние годы вышли труды О.А. Курбатова о Тихвине и А.А. Селина о Ладого.

В небольшом введении автор упомянул своих предшественников (Г.В. Форстена, В.А. Фигаровского) и охарактеризовал особенности их работы с русскими и шведскими источниками. Ход борьбы за освобождение Тихвина подробно освещен, как писал Г.А. Замятин, «недавно по русским источникам К.Н. Сербиной, но все же этот вопрос не стоит у К.Н. Сербиной в центре внимания».

При чтении труда Г.А. Замятина поражает большое количество русских и шведских источников, впервые введенных им в научный оборот.

Среди русских источников можно выделить, прежде всего, документы РГАДА (Ф. 96. Шведские дела). Автор широко использовал источники, опубликованные до 1917 г. (ААЭ, АМГ, ДАИ, Сб. НОЛД, Сб. РИО и др.), однако эти источники исследователи обошли своим вниманием (это положение мало изменилось и в настоящее время).

Среди документов Разрядного приказа, опубликованных Н.А. Поповым в 1890 г. (АМГ. Т. 1), особую ценность для изучения истории Тихвина, Порхова, Ладого и Старой Руссы представляют многочисленные отписки, распросные речи, справки из Разряда (всего 24 документа), которые «проглядели» (по выражению Замятина) В.А. Фигаровский, И.П. Шаскольский и другие исследователи.

Из сборника ДАИ (1846 г.) историк использовал 22 источника, среди которых имеются документы Новгородского оккупационного архива, обнаруженные С.В. Соловьевым в ходе поездок в Швецию в 1837-1840 гг., а также распросные речи, памяти и отписку тихвинского воеводы С.В. Прозоровского. Это позволило историку выяснить многие неизвестные факты обороны Тихвинского монастыря.

Г.А. Замятин использовал также 12 документов сборника ААЭ (1836 г.) – это царские грамоты и отписки воевод. Особенно следует

выделить царскую грамоту о победе под Тихвином, а также довольно позднюю (1623 г.) царскую грамоту псковским воеводам, из которой исследователь сделал правильный вывод о составе гарнизона Гдова в первые годы Смуты и о размерах жалования служивых людей.

Г.А. Замятин использовал 13 документов из шведских архивов, раскрывающих неизвестные страницы осады шведами Гдова, борьбы за Ладогу и Тихвин, вопросы обмена пленных, в том числе семьи порховского воеводы Ивана Крюкова и новгородского дьяка Ивана Тимофеева, действия отряда Андрея Палицына под Старой Руссой и т.д., опубликованные в сборнике Новгородского общества любителей древности (1911-1912 гг.).

Историк изучил труд К.Н. Якубова, который в 1890 г. опубликовал обзор русских документов Государственного архива Швеции, обратив особое внимание на отписку воеводы Порхова И.А. Мещерского, в которой содержится ценная информация о событиях в Тихвине и восстании в Порхове. Используются акты источники, опубликованные Н.П. Лыжиным (1857 г.), Г.В. Форстеном (1893 г.), С.Б. Веселовским (1911 г.) и А.М. Гневушевым (1915 г.), а также документы архива П.М. Строева (1917 г.) и Дворцовые разряды (1850 г.).

Как и многие исследователи, Замятин широко использовал Краткую повесть и Пространное сказание об осаде Тихвинского монастыря, однако он впервые подробно осуществил сравнительный анализ этих произведений, выявил их авторов и обратил внимание на детали, которые выпали из поля зрения других исследователей. Историк не обошел своим вниманием Псковские летописи и Новый летописец, а также сочинения иностранных авторов – француза Пьера Делавиля (1841 г.) и голландских дипломатов (1878 г.).

Среди шведских источников в первую очередь следует отметить документы, извлеченные из архива Я. Деллагарди в Тарту (9 документов). Находясь в Стокгольме в 1915 г., Г.А. Замятин работал над документами фонда Московитика (Дело об избрании Карла Филиппа русским царем) и фонда Русская война 1609-1617. Тогда же он сделал многочисленные выписки из документов фонда канцлера А. Оксеншерны, опубликованных в Стокгольме в 1893 г. и документов, опубликованных в Гельсингфорсе финским историком Ваараненом в 1866-1874 гг.

Г.А. Замятин в своей работе использовал также доступную ему литературу на шведском языке, в том числе известное сочинение Галленберга по истории Швеции (1790-1796 гг.) и изданный в Стокгольме в 1936 г. труд офицеров шведского генерального штаба «Войны Швеции 1611-1632».

Отдельные очерки монографии Г.А. Замятина посвящены борьбе за Тихвин, Гдов, Порхов, Старую Руссу и Старую Ладогу. По объему они далеко не равноценны. Почти половина объема монографии занимает очерк о борьбе за Тихвин (2,7 п. л.). Далее идут очерки о

борьбе за Старую Руссу (1,0 п. л.), о восстании в Гдове и четырех попытках шведов вернуть эту крепость (0,7 п. л.), о борьбе за Старую Ладугу в 1614 г. (0,6 п. л.) и о восстании в Порхове (0,3 п. л.). Довольно объемное заключение составляет 0,5 п. л.

В заключении историк отмечал, что после избрания Михаила Романова новое московское правительство активизирует военные действия против шведов. Эта борьба велась из двух центров: из Москвы и из Пскова. По мнению Г.А. Замятина, главную роль в событиях в Тихвине, Гдове и Порхове играли не местные жители, а московские отряды. В Ладогe местных жителей практически не было, здесь воевали казаки, «тихвинские сидельцы». Что касается Старой Руссы, то боевые действия под Рамышевом можно действительно рассматривать как партизанское движение, в котором активную роль играли крестьяне окрестных погостов. В качестве примеров партизанской борьбы Г.А. Замятин привел ряд успешных рейдов на территорию, находящуюся под контролем шведов. В результате этих боевых действий уже в 1613-1614 гг. наметилось решение некоторых вопросов, зафиксированное позднее в мирном договоре 1617 г. в Столбово.

Данный труд Г.А. Замятина заслуживает скорейшей публикации.

Л. П. Репина (ИВИ РАН, Москва)

**Историческая культура эпохи Просвещения
в контексте современного
историко-историографического исследования
(к 300-летию Дэвида Юма)***

Изучение истории историографии как академической дисциплины находится сейчас на подъеме, однако на этом пути приходится преодолевать многие препятствия. Очевидные трудности имеются в определении самого предмета истории исторической науки. Можно определить предмет таких изысканий как «историю истории», или – если использовать более привычное выражение – как «историю историографии». Между тем термин «историография» многозначен и в самом общем своем значении указывает на вербальную форму *историописания*, изложения материала в форме исторического нарратива. В результате оказывается, что понятие «история историографии» не делает различия между корпусом работ, выполненных в соответствии с установленным кодексом исследовательских правил, и другими типами исторических сочинений.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в новое время» (№ 10-01-00403а).

В последней трети XX в. представление о том, что история историографии научно описывает путь последовательного продвижения человечества к некоему абсолютно истинному знанию о своем прошлом, подверглось радикальному пересмотру. Именно в это время происходит становление и расширение «сферы влияния» социокультурного подхода, который проложил себе путь и в ареал историко-историографических исследований, выведя их, по существу, на более высокую орбиту. В современной историографии место этой области исторического знания, которую иногда называют «интеллектуальной историей истории» (*intellectual history of history*), все больше ассоциируется с некой пограничной линией между историей науки и анализом коллективных представлений, отраженных в разнородных текстах. Новая историография науки рассматривает ее как одну из форм общественной деятельности и часть культуры, которая не может исследоваться в изоляции от социального, политического и других аспектов интеллектуальной истории.

Переосмысление предмета исследования интеллектуальной истории и *истории* историографии как ее части (как интеллектуальной формы, в которой общество осознает самое себя) опирается на эпистемологические и методологические принципы современного социокультурного подхода. Целостный подход к изучению сложного историографического явления должен быть направлен на последовательный и систематический анализ конкретных форм существования истории как области гуманитарного (и шире – социально-гуманитарного) знания, как определенной интеллектуальной системы, которая, сохраняя свое специфическое качество, тем не менее, переживает со временем неизбежную трансформацию. История историографии как часть интеллектуальной истории – это и не *дисциплинарная* история исторической науки, и не *философская* история исторической мысли, и тем более не *вспомогательная* проблемно-тематическая историография, а прежде всего *история исторической культуры*, исторического познания, сознания и мышления, история исторических представлений и концепций, образов прошлого и «идей истории», задающих интерпретационные модели и выступающих как мощный фактор личностной и групповой идентичности, общественно-политических размежеваний и идеологической борьбы. Речь идет об изучении способов производства, хранения, передачи исторической информации (и манипулирования ею), а также воздействия на этот процесс исторической науки и публицистики, о научном анализе качественных сдвигов, произошедших в историографической практике и в исторической новеллистике на рубежах XVIII/XIX, XIX/XX и XX/XXI веков.

Важным направлением исследовательского поиска становится изучение динамики состояний исторического сознания на обоих его уровнях: и на элитарном, и на массовом. В современных исследованиях оказываются взаимосвязанными (хотя они могут выступать и как само-

стоятельные) три линии анализа: 1) анализ самого данного исторического текста, 2) анализ содержащейся в нем концепции (как ее доминантной идеи, так и имеющихся противоречий), 3) анализ исторического опыта, к которому эта концепция может быть обращена.

Во всяком обществе и при любом политическом устройстве существует глубокая, тесная и неискоренимая зависимость историков от современной эпохи. Те вопросы, которые каждое поколение историков ставит перед прошлым, неизбежно отражают интересы, проблемы и тревоги этого поколения. Политическая ориентация, социальная позиция, иерархия ценностей так или иначе находят выражение в интеллектуальном творчестве обществоведа, гуманитария, историка.

Рассматривая историю историографии (исторического знания) как интеллектуальную историю, можно говорить о трех различных уровнях ее изучения, которые в той или иной мере соответствуют таким основным направлениям обновленной методологии интеллектуальной истории, как история интеллектуальной жизни, история ментальностей и история ценностных ориентаций. Вместе с тем, разрабатывая подобный полномасштабный историко-историографический проект в рамках современной интеллектуальной истории, необходимо учитывать взаимосвязанность всех его составляющих, в том числе и относительно традиционных, сформированных в предметных полях дисциплинарной истории, проблемно-тематической историографии и истории исторической мысли.

Представляется весьма перспективным новый взгляд на историческую культуру эпох Просвещения, который требует комплексного подхода, включающего интенсивный микроанализ, будь то анализ конкретных текстов и ситуаций, отдельных творческих личностей и межличностных отношений в интеллектуальной среде. Речь идет, таким образом, о совмещении традиций социально-интеллектуальной и персональной истории в особом предметном поле, которое можно условно определить как *историю историографии в человеческом измерении*. В докладе будет представлена апробация такого подхода в применении к анализу творчества Дэвида Юма, как представителя, с одной стороны, рационализма XVIII века, *философской истории*, исторической культуры Просвещения, а с другой – как предтечу раннего романтизма и мыслителя, внесшего фундаментальный вклад в обоснование истории как области научного знания и стремившегося рационализировать мир истории в категориях этики, психологических мотиваций, времени, памяти, исторической ситуации и исторического опыта. Сопоставляются историко-теоретические взгляды Юма и его историографическая практика, приемы деконструкции историографической традиции, а также общие принципы, разделяемые им с «философской историографией» в целом, и новационные идеи, привнесенные им в европейскую историческую культуру.

**Как нужно писать областную историю?
Исторические журналы второй половины XIX в.
о задачах провинциального историописания**

В XIX в. русские интеллектуалы объявили историю «царицей» наук. Вторая половина столетия была отмечена становлением университетской исторической науки, формированием «профессионального кодекса» историка-исследователя. Господствовавшие в круге чтения образованных русских «толстые журналы» претендовали на роль «властителей дум» и стремились сформировать коллективные представления о качествах, которые должны быть присущи всем, кто занимается историческими изысканиями. Рост национального и регионального самосознания привел к трансформации антитезы «столица/провинция» из литературного факта в факт общественно-политической и научной жизни и обусловил внимание отраслевых и общественно-политических ежемесячников к проблемам провинциального историописания.

Содержательный анализ исторических журналов «Вестник Европы» и «Исторический вестник» второй половины XIX в. свидетельствует о том, что вопросы о том, кому, зачем и как изучать историю русской провинции актуализировались, главным образом, путем публикации рецензий на «областную литературу» по истории и этнографии. Можно выделить следующие задачи, которые ставились различными историками, сотрудничавшими в «толстых журналах», перед своими провинциальными коллегами.

Во-первых, предполагалось, что они будут формировать источниковедческую базу для воссоздания прошлого русской провинции. «Настоящая эпоха нашей историографии характеризуется не столько обилием исследований, сколько массой издаваемого вновь материала, за которым не поспевает историческая разработка», – утверждал обозреватель «Вестника Европы» в 1885 г. (Литературное обозрение // Вестник Европы. 1885. № 3. С. 435). В соответствии с этим давались рекомендации по поводу того, как правильно собирать и фиксировать этнографические сведения и фольклорный материал, как записывать воспоминания очевидцев тех или иных событий. Сотрудники ежемесячников настаивали на том, что местная история должна быть «написана» на материалах местных источников, в первую очередь, архивных. Показательна в этом смысле реакция на «Исторический очерк Сибири» В. Андриевича: «Это издание опять свидетельствует о недостаточности провинциальных сил, которым нередко трудно бывает справляться с вопросами истории или местного описания. Загла-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 10-01-00445а.

вие книжки способно сильно заинтересовать всех, занимающих русской историей, и книга о Сибири, написанная на месте, заставляет предполагать местные сведения, документы, предания, которые трудно иметь вне Сибири. Но на этот раз ожидание не будет удовлетворено» (Рец. на: Андреевич В. К. Исторический очерк Сибири. Т. 2. Иркутск, 1886 // Вестник Европы. 1886. № 9. С. 403). Большое внимание уделялось правилам публикации «найденных» источников, суть которых сводилась к тому, чтобы, во-первых, передать памятники как можно точнее, во-вторых, облегчить пользование ими.

Во-вторых, рецензенты обращали внимание на источниковедческую операцию, качество анализа источников местными историками. Как правило, это внимание ограничивалось констатацией круга привлеченных источников (реже – рефлексией по поводу их полноты) и рекомендациями по поводу использования тех или иных исторических источников, которые не были учтены провинциальными историками. В данном случае важно, что журналы формировали представление о «прозрачности» всех процедур, предпринимаемых историками, предъявляя требования «научности» к провинциальной исторической и краеведческой литературе.

В-третьих, несмотря на то, что основной объем рецензий занимал пересказ содержания произведений «областной литературы», они, тем не менее, содержали требования и к приемам повествования, и к «литературной обработке» исторического материала. Журналы пытались влиять на «литературную фазу» текстопорождения, анализируя особенности стиля и приемы изложения краеведческого материала. Как показали С. Маловичко и М. Мохначева, в провинциальной историографии и краеведении второй половины XIX в. господствовал антикварно-эрудитский тип историописания. Для такого типа текстов характерен культ эмпирического знания, когда процесс сбора фактов понимался как смысл истории. Часто такое историописание сопровождалось не критичным подходом к источникам, стремлением к комментированию всего, что есть в них, произвольным отношением к «фактам» и мнениям о них вплоть до построения произвольных исторических фигур.

Вполне естественно, что работы провинциальных историков вызвали порой непонимание у представителей профессиональной историографии, сотрудничавших в столичных исторических журналах. Поддерживая работы по региональной истории и историческому краеведению, они часто критиковали их авторов за отсутствие обобщений, игнорирование влияния природно-климатических, культурно-исторических условий на историю края, чрезмерную доверчивость к свидетельствам источников, преобладание позиции «краелюбца» над позицией исследователя. Часто на страницах журналов предлагались алгоритмы организации работы исследователя по истории «русских областей». А. Пыпин обосновывал такую последовательность действий: 1) необходимо выяснить, что ранее написано по избранной теме;

2) выявить круг источников, в первую очередь, местных, ранее не известных историкам; 3) сравнить информацию, содержащуюся в уже опубликованных источниках и работах своих предшественников, с собственными выводами (А. П. [Пыпин А. Н.] Рец. на кн.: Андриевич В. К. Исторический очерк Сибири // Вестник Европы. 1886. № 9. С. 405). Такие же задачи ставил перед историками русской провинции С. Андрианов на страницах «Исторического вестника». При анализе статей и рецензий изучаемых изданий создается впечатление, что их позитивистски ориентированные авторы представляли историю русских провинций как результат продолжительного, поступательного коллективного интеллектуального труда коллег, каждый из которых своими трудами заполняет определенные тематические (содержательные) пробелы в мозаике знаний о прошлом края.

О. В. Семерицкая (РГГУ, Москва)

Журнальная научная полемика середины XIX в. как историографический феномен: постановка проблемы

Изучение журналистики в контексте истории исторической науки, источниковедения и археографии давно стало одним из традиционных исследовательских направлений. Особенно актуальным является изучение периодической печати Нового времени в качестве историографического источника, что способствует максимальному расширению информационных возможностей этого вида источников.

Периодические издания второй – третьей четвертей XIX вв. наглядно демонстрируют специфику развития историографической традиции того времени. По числу публикаций научных статей и исторических источников, по степени воздействия на научную мысль и массовое сознание журнальную историографию можно назвать одной из ведущих форм письма в структуре историографии исследуемого периода. «Учено-литературные» журналы середины XIX столетия являлись основным видом чтения профессионального историка и главной трибуной для высказывания им своих достижений на поприще науки, полем для дискуссии в среде научного сообщества, а также главным образовательным средством для простого обывателя.

Особый исследовательский интерес представляет журнальная научная полемика как историографический феномен. Публикация в журнале научной статьи или рецензии на вышедшее в свет научное сочинение часто вызывала живой отклик со стороны научного и околонаучного сообщества, представленного историками-любителями, находящий свое место на страницах ведущих московских и петербургских «учено-литературных» журналов. (Представленные здесь доводы являются результатом анализа научной полемики на страницах журналов «Москвитянин», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Современник».)

Журнальная полемика – наглядная иллюстрация журнализации исторической науки. Научная полемика, берущая свое начало в первой четверти XIX в. с салонных «ученых» диспутов – рыцарских «вежливых турниров», к середине века перенеслась на страницы журналов и переродилась в ожесточенные сражения идей и концепций. В журнальную полемику по вопросам исторической мысли вовлекались не только профессиональные историки, но и просто «любители старины», что в немалой степени способствовало дилетантизму науки истории. Таким образом, журнальная полемика воздействовала не только на самую историческую мысль, но и на общественное сознание. В первом случае журнал выполнял функцию системообразующего звена научного знания в области истории, во втором же случае проявилась основная функция периодической печати – организация общественного мнения.

Характерной чертой историографической ситуации середины XIX в. является взаимовлияние и взаимозависимость науки и общественного мнения: журнальная полемика просвещала и образовывала читающую публику, культивировала в обществе новые научные знания и таким образом вооружала общественное мнение способностью верификации научных концепций, их оценки. Все это в свою очередь способствовало политизации исторической науки: борьба течений отечественной историографии, демонстрируемая журнальной полемикой, воспринималась общественным сознанием в политической плоскости. А историк в свою очередь, попадая в своеобразный водоворот журнальной полемики и общественного мнения, вольно или невольно корректировал свои теоретические и методологические воззрения, ставил перед собой новые цели и задачи, искал новые методы и подходы к изучению прошлого, что, безусловно, способствовало достижению нового научного знания и установлению новых методологических перспектив в исторической науке.

Журнальная научная полемика с источниковедческой точки зрения имеет ряд характерных черт. Так, этому «текст-источнику» присущи такие свойства, как эмоциональность, «срочность» письма. Оценка и суждения оппонентов зачастую отрывисты и бездоказательны, противоречивы и не всегда корректны. Однако анализ именно этих свойств помогает в решении проблемы раскрытия мотивационных оснований выбора историком той или иной теории и методологических схем историографического «письма».

Научная полемика по одному вопросу может происходить на страницах сразу нескольких журналов и задействовать несколько человек в качестве активных участников, что подводит исследователя к решению еще одной источниковедческой проблемы – раскрытие мотивации автора конкретного текста в выборе журнала в качестве места публикации своего труда или трибуны для пропаганды своей точки зрения. Здесь важно определить состав участвующих в научной полемике, установить тип (профессиональный, политический, соци-

альный, географический) связи/связей, объединяющий оппонентов: учитель – ученик; представили одной или разных научных школ; Москвы, Петербурга или провинции; выразители интересов одного или разных политических лагерей. Анализ состава участников журнальной научной полемики позволяет определить глубину осознания историком своей принадлежности к той или иной научной школе, оригинальность или преемственность исторической концепции историка, а также сделать более общие выводы - раскрыть состав научного сообщества и характер взаимоотношений внутри него. Таким образом, журнальная научная полемика раскрывает коммуникативный характер развития исторической мысли.

Итак, журнал как «срочная» словесность к середине XIX века оказался наиболее удобной формой научного диспута, предполагающего наличие довольно большой аудитории заинтересованных лиц из числа ученых-историков и простых обывателей. Все это привело к политизации исторической науки и к превращению ее в социальный институт. Журнальная научная полемика, максимально полно воплотившая процесс журнализации исторической науки, став субъектом историографического процесса, объективировала процесс теоретизации научно-исторического познания, а следовательно, явилась показателем самосознания науки истории.

О. В. Сеницын (Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, Казань)

Школа неокантианства и становление и развитие методологии истории в России

Вопрос о возникновении школы неокантианства в российской историографии является дискуссионным. Это объясняется тем, что основное внимание ученых привлекает язык философии И. Канта и его последователей. В последнее время особый интерес вызывает тема соотношения немецкого и русского неокантианства (Неокантианство немецкое и русское: Между теорией познания и критикой культуры. М., 2010), которое рассматривается во взаимосвязи и взаимовлиянии оригинальных философских концепций немецких и русских представителей, в полемике с оппонентами, что позволяет вскрыть важный методологический и теоретико-исторический потенциал этого философского течения.

Неокантианская школа в отечественной историографии начала XX в. внесла самый весомый вклад в становление методологии истории как самостоятельной научной дисциплины. Неокантианское течение в российской исторической науке стало одним из этапов эволюции «критической философии» в целом и имело отчетливо выраженную специфику. Восприняв ряд кардинальных идей баден-

ской школы неокантианства о методе и природе исторической науки, классификации наук, теории ценностей российские неокантианцы предложили **свое понимание** этих и других важных теоретико-методологических вопросов. Наиболее характерным для российской версии неокантианской методологии истории было следующее:

- опора на традиции отечественной философско-исторической мысли;
- понимание методологии истории как специальной научной дисциплины, цель которой – обоснование и изучение **принципов и методов** исторического познания;
- отстаивание единства научного знания с учетом специфики исторической науки;
- выявление не только **различия** обобщающей и индивидуализирующей точек зрения, но и их **общих** черт. Признание необходимости соединения номотетического и идиографического методов в практической работе историка.
- выдвигание субъекта познания в качестве активного творческого начала в процессе исторического познания;
- выделение двух типов ценностного подхода в историческом исследовании – отнесение исторических фактов, имеющих черты действительности и длительности, к абсолютной, общепризнанной ценности;
- понимание исторического процесса как процесса взаимодействия человеческих индивидуальностей и социальных групп;
- психологическое обоснование исторических фактов, отягченное «нормативной оценкой»;
- отказ от прямолинейного представления о социальном прогрессе и возможности установления «законов истории»;
- пристальное внимание к социально-экономической проблематике и роли государства в историческом процессе.

В. В. Созири (ИВИ РАН, Москва)

Историографии России и США: современный диалог

Взаимоотношения историографий России и США прошли в своем развитии два периода: *советский и постсоветский*. Лейтмотивом советского периода было *противоборство* двух историографий, претензия каждой на монополию исторической истины, хотя не исключалось определенное сотрудничество. В постсоветский период на ведущую позицию выдвигается *диалог* историографий, хотя не исчезает и противоборство, удельный вес которого изменчив и обнаруживает зависимость от изменения внутривнутриполитических реалий в каждой из стран, как и их взаимоотношений на международной арене.

В советский период отечественная американистика опиралась на формационное учение и классовый подход, что уже предопределяло ее

противостояние с американской исторической наукой. Примем во внимание и то, что в советской исторической науке существовало специальное направление «Критика и борьба с буржуазными фальсификациями истории», которое было необычайно влиятельным и боевым. Львиная доля историографических конференций советского периода была посвящена именно борьбе с буржуазной, или, как часто говорили, *антимарксистской историографией*. Не счесть докторских и кандидатских диссертаций, посвященных критике антимарксистской историографии, при этом главным ее представителем, можно сказать авангардом, неизменно оказывалась историческая наука США.

Ситуация стала резко меняться во второй половине 1980-х гг. Курс М.С. Горбачева на прекращение холодной войны, развитие взаимопонимания и сотрудничества с США имел следствием смягчение идеологической конфронтации между двумя странами и, конечно же, между их историографиями. Эти тенденции углубились в период президентства Б.Н. Ельцина (1991-1999), который объявил Россию и США однородными цивилизациями. Новые времена наступили и в российском общественном сознании, в том числе в историографии и американистике. Часть российских американистов отказались при изучении США от формационного подхода в пользу цивилизационного (большая часть американистов пыталась соединить два подхода). Были восприняты методологии и теоретические разработки западных социальных наук (политологии, социологии, антропологии и др.), так что российское общественное сознание, в том числе американистика стали опираться на новую междисциплинарность, радикально отличную от прежней марксистско-ленинской. В результате прежние гиперкритические оценки американского исторического опыта стали меняться на более взвешенные, синтезирующие разные его стороны.

Соответственно изменилось и отношение к западному общественному и исторической науке. Начиная со второй половины 1980-х гг. вплоть до сегодняшнего дня наблюдался настоящий бум в переводе и издании на русском языке работ западных, в первую очередь американских политологов, социологов, экономистов, историков, международных. Произошла реабилитация американской советологии. Еще больше было переведено на русский язык и издано работ американских авторов по истории США. Теперь среди них доминировали те, кого в советский период зачисляли в консервативную (консенсуса) и либеральную школы, и в течение двух десятилетий количество их работ, переведенных на русский язык, значительно превзошло количество книг американских «левых» историков, изданных в СССР в течение 70 лет. Назову только самых именитых либеральных и консервативных историков США, переведенных на русский язык: Б. Бейлин, Д. Бурстин, М. Лернер, А. Шлезингер (мл.), Ф. Дж. Тернер, Л. Харц.

Если российская историография обнаружила готовность перейти в режим диалога, то американская историческая наука сохраняла менторский тон, недостатки эпохи холодной войны, главный среди которых заключается в том, что многие ее представители произносят «приговоры» и «выговоры», выступают в роли представителей нации, наделившей себя по собственной воле миссией распространения передовой науки и культуры, построения мировой демократии.

Матрица конфронтации еще сохраняет прочные позиции во взаимоотношениях историографий двух стран. Возлагать вину за это только на американских ученых было бы явным преувеличением. Российская ментальность также сохраняет конфронтационные черты, которые не могут не влиять на историческую науку. В 2000-е гг. конфронтационные начала в отношении России к США, в сравнении с 1990-ми гг. усилились. Это показательно образом отразилось на книгах американских авторов, переводимых и издаваемых в России. Если в 1990-е гг. среди этих книг откровенно доминировали работы либеральных и консервативных авторов, создающих в высшей степени позитивный образ Америки, то в 2000-е гг. все больший удельный вес занимают авторы, жестко критикующие Америку. Это в основном радикальные исследователи, такие, как К. Паренти, Г. Зинн, Г. Видал, но также и те (как консерватор-традиционалист П. Бекенен), которые жестко критикуют внутреннюю и внешнюю политику США. Показательно, что российские издательства, публикующие эти книги за счет патриотических отечественных спонсоров (а в 1990-е гг. американские авторы издавались по преимуществу при финансовой поддержке Информационного агентства США), публикуют их в рубрике «Америка против Америки». То есть читателю хотят сказать: пороки и недостатки Америки реальны, если признаются самими американцами, а не отечественным агитпропом.

Итак, и для американской, и для российской историографий смена *противоборства* на *диалог* остается актуальной задачей. Не будет лишним кратко сформулировать различие между двумя категориями. Противоборство означает стремление к научной монополии, к дискредитации и устранению оппонента – соперника, а диалог означает взаимообмен научными результатами и дискуссию в целях совместного приближения к научной истине, что предполагает восприятие у оппонента рациональных аргументов, выводов, достоверных фактов. *Противоборство* это «игра с нулевой суммой», а *диалог* – это научное обогащение каждой стороны за счет убедительных аргументов и неопровержимых фактов оппонента, это приращение общего знания в интересах исторической науки в целом. Необходимо признать, что культура диалога в российской историографии еще далеко не сформирована, у многих историков она отсутствует.

Развитие режима диалога во взаимоотношениях двух историографий не означает стирания различий между ними. Они сохраняются уже по причине мировоззренческих различий. Примером современной идеоло-

гической национальной особенности, влияющей на историческую науку США, но чуждой российской американистике, является, например, *политкорректность* – набор мировоззренческих установок, оформившихся в американском обществе, в первую очередь в либеральных кругах (но ее не в состоянии проигнорировать и консерваторы) под воздействием общественно-политических процессов и изменений последней трети XX в. Многие историки в своем исследовательском видении подчинились либеральной политкорректности. Важнейшие события прошлого, такие как Война США за независимость, Гражданская война, Прогрессивная эра начала XX в. и Новый курс 1930-х гг. стали оцениваться не столько в связи с их позитивными нововведениями в сравнении с предшествующими эпохами, сколько в связи с неспособностью обеспечить равные права афроамериканцам, женщинам, как и другим «угнетенным» социальным группам.

Все вышесказанное свидетельствует, что у российских американистов есть основания вырабатывать собственную исследовательскую позицию в постижении исторического опыта США. Для самого себя я формулирую эту позицию так: раскрывать и исследовать максимально полно самые разнообразные явления и стороны американской истории, все ее «плюсы» и «минусы» и стремиться к нахождению их объективного соотношения, *точной меры*.

М. С. Соколов (Ставропольский ГУ)

Личность Ганнибала в оценках Корнелия Непота и Тита Ливия

До нас дошли характеристики Ганнибала, данные только римскими и греческими историками. При этом оценки Тита Ливия существенно отличаются от характеристики Корнелия Непота. Важно разобратся в причинах этих отличий.

Римский историк и биограф Корнелий Непот жил около 100-25 г. до н.э., происходил из сословия всадников. Непоту принадлежит следующее описание личности Ганнибала: «сын Гамилькара, карфагенянин. Если никто не сомневается, и вполне справедливо, что римляне превзошли доблестью все народы, то нельзя отрицать и того, что Ганнибал настолько затмевал прозорливостью прочих полководцев, насколько римский народ опережал в храбрости другие племена. В самом деле, сколько он ни сражался с римлянами в Италии, всякий раз выходил из боя победителем. И если бы не ущемляла его на родине зависть сограждан, он, очевидно, мог бы одержать над ними верх. Сам же Ганнибал был настолько верен отцовской ненависти к римлянам, оставленной ему как бы в наследство, что раньше расстался с жизнью, чем с нею» (Непот. XXIII. 1). Как можно заметить, Корнелий Непот восхищается гениальностью Ганнибала как полководца, хотя и переоценивает его силы, говоря о возможной победе над Римом.

Корнелий Непот в своем описании Баркида переключается с Полибием. Например, Непот обращает внимание читателей на личную ненависть Ганнибала к Риму: «благодаря настойчивым заклятиям отца, был убежден, до такой степени, что скорее согласился бы умереть, чем отказался от борьбы с римлянами» (*assiduis patris obstationibus eo est perductus, ut interire quam Romanos non experiri mallet*) (Nep. Ham. 1). Это замечание дает повод сослаться на «Всеобщую историю» Полибия (Ш. 12), где утверждается: «Действительно, зятю своему Гасдрубалу и родному сыну Ганнибалу он вселил такую вражду к римлянам, дальше которой идти нельзя» (Татарников Д.Г. Восприятие второй пунической войны в римском обществе: исторические события глазами историков и ораторов (конец III – конец I века до н.э.): Дисс. ... канд. ист. наук. Саратов, 2006. С. 184). Можно заметить, что римский автор не только повторяет точку зрения греческого историка, но, в определенной степени, даже и его манеру изложения. Труд Полибия был одним из главных источников, использованных Корнелием Непотом при написании биографий карфагенских полководцев (Альбрехт М. фон. История римской литературы... М., 2002. Т. I. С. 527).

Итак, Непот пользовался трудами греческого историка, и многие факты явно взяты из «Всеобщей истории», но в описании личности Ганнибала римский историк идет по пути его всяческого восхваления. Дело, на мой взгляд, заключается в желании Непота возвысить свое государство, описывая победу над таким великим полководцем, как Ганнибал. Но странное дело, ведь Тит Ливий должен был стремиться к тому же, а его описания карфагенского полководца существенно отличаются.

Римский историк Тит Ливий жил приблизительно между 59 г. до н.э. и 17 г. н.э. Детство и юность Ливия совпали со временем стремительного продвижения Юлия Цезаря к власти, и прошли под знаком его галльских походов и последовавших за ними гражданских войн, завершившихся установлением империи под властью Августа. Надеяться, что Тит Ливий будет объективно описывать одного из самых страшных врагов Рима не приходится. Но при этом он искренне восхищается силой духа и неприхотливостью карфагенского полководца. «Одним своим появлением он обратил на себя взоры всего войска. Старым воинам показалось, что к ним вернулся Гамилькар, каким он был в лучшие свои годы: то же мощное слово, тот же повелительный взгляд, то же выражение, те же черты лица! ... И зной, и мороз он переносил с равным терпением; ел и пил ровно столько, сколько требовала природа, а не ради удовольствия; выбирал время для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь. ... Одеждой он ничуть не отличался от ровесников; только по вооружению да по коню его можно было узнать. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило даже пресловутое пунийского вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святынь» (Liv. XXI. 4).

Тит Ливий описывает, с одной стороны, бесстрашного и трудолюбивого полководца, а с другой – вероломного и жестокого человека. В то же время Корнелий Непот не акцентирует внимание читателей на «пороках» Ганнибала. Здесь нельзя забывать, что Тит Ливий был великим патриотом своей страны и, конечно, иначе не мог оценить личность человека, державшего на протяжении почти двух десятилетий в страхе весь римский народ.

Конечно такое явное отличие в описании одного и того же человека у римских историков может объясняться разными источниками. Тит Ливий в качестве источников широко использовал произведения анналистов, в том числе и труд основоположника жанра – Фабия Пиктора (Подробнее об источниках Ливия см.: Burk E. *Das Geschichtswerk des Titus Livius*. Heidelberg: Carl Winter. Universitdsverlag, 1992. S. 15-49). Являясь родственником Фабия Максима, диктатора 217 г. до н. э. и консула в 233, 228, 215, 214 и 209 г. до н.э. (Broughton T. R. S. *The Magistrates of the Roman Republic*. Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1986. Vol. 1. P. 243), Пиктор был представителем знатнейшего рода Фабиев. Приступая к написанию своего сочинения он, вероятно, ставил перед собой ряд задач политического порядка. Первый римский историк желал в своем сочинении, обращенном к эллинам, а также к тем представителям римского общества, которые владели греческим языком, оправдать внешнюю политику Рима и продемонстрировать правоту политических течений, к которым он сам принадлежал (Подробнее о схожести текстов Фабия Пиктора с текстами греческих и римских авторов см: Татарников Д.Г. Указ. соч. С. 139). Может быть, поэтому Тит Ливий выдвигает против Ганнибала столь сильные обвинения, в отличие от Корнелия Непота, который явно пользуясь сочинениями Полибия, вообще ничего плохого не говорит о карфагенском полководце.

Следует обратить внимание и на то, что Корнелий Непот говорит больше о полководческом таланте, рассматривает Баркида как гениального стратега и тактика, а Тит Ливий приводит все личностные достоинства и недостатки Ганнибала. Конечно, гениальный полководец может быть и даже должен быть жестоким и вероломным, а вот простому человеку необходимо стремиться к искоренению таких качеств.

Итак, как можно увидеть, отличия в характеристике Ганнибала могут быть вызваны не только разными источниками, но и разным восприятием Баркида. Непот рассматривает его, в основном, как полководца, а Ливий акцентирует внимание на личностных качествах. Вероятно, такая установка Тита Ливия объясняется не только свойственным ему морализаторством, но и тем, что он хотел показать Ганнибала «вместилищем всех пороков», подчеркнув тем самым ценность победы добродетельных римлян над «коварным варваром».

Истоки роксоланской концепции происхождения термина «Русь» в отечественной историографии XVIII в.

В XVIII в. сразу несколько отечественных историков считали, что термин «русь» связан с племенным именем роксолан – народа, обитавшего по свидетельству античных авторов в Северном Причерноморье. Одним из активнейших сторонников роксоланской концепции в XVIII в. был М.В. Ломоносов. Он считал, что слово «роксоланы» «может быть составлено из двух – *россы* – *аланы*». Роксоланы «говорили языком славенским» и обитали на тех территориях, где впоследствии проживали русские. «И так понеже народ российский с народом роксоланским есть одного имени, одного места и одного языка, то неоспоримо есть, что российский народ имеет свое происхождение и имя от роксолан древних» (Ломоносов М.В. Соч. М.; Л., 1952. Т. 6. С. 26, 28-29).

В.К. Третьяковский еще более удревнял историю народа, полагая, что народ россы упоминался еще в Ветхом Завете. Античный период истории россов Третьяковский излагал близко к Ломоносову. Часть из россов, поселившись в Северном Причерноморье «с Аланами в един народ совокупилась, да и назвались оба народа Роксоланами или Россоланами» (Третьяковский В. К. Сочинения. СПб., 1849. Т. 3. С. 392). Сходно с Третьяковским происхождение российского имени виделось и М.М. Щербатову. Он также признавал существование древнего народа, называемого «росии». Есть у него и роксоланский этап, а «наименование России... происходит от народа Росии и Роксолянов» (Щербатов М.М. История Российская. СПб., 1770. Т. 1. С. 185).

Но, что самое удивительное, Г.Ф. Миллер в работах 1761 и 1773 гг. отказался от своей первоначальной скандинаво-финской версии происхождения термина «русь» в пользу роксоланской. Согласно его мнению, роксоланы не были славянами и не участвовали в хоть сколько-нибудь значительном количестве в формировании русского этноса, однако от них пошел этноним «русь», «ибо *Росс* и *Русс* все одно, а *Лане*... не что иное есть, как окончание» (Миллер Г.Ф. О народах издревле в России обитавших. М., 1773. С. 109).

Почему во всех этих довольно разнообразных исторических сочинениях возникает «роксоланский» этап в истории русских? Для ответа на вопрос следует обратиться к зарубежной историографии XVI-XVII вв.

В тот период в европейском ученом сообществе под влиянием усилившегося интереса к античности было принято искать корни современных народов среди античных. Например, в Швеции развилась идеология «готтицизма», в соответствии с которой шведы объявля-

лись потомками готов. Подобным же образом в Польше возникает «сарматизм», где предками поляков считаются античные сарматы (Толстиков А.В. «Шведскость» как «готскость»: Шведский готицизм XV-XVII вв. // Шведы: Сущность и метаморфозы идентичности. М., 2008; Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма. М., 2002). Народы, не имевшие античного периода в своей истории, получали его. Достаточными аргументами в пользу отождествления античного и современного народов авторы XVI-XVII вв. полагали: единство территории, этническую близость, созвучие этнонимов.

В начале XVI в. в европейских историко-географических сочинениях появляется мнение о том, что этническое имя русских происходит от роксолан. Итальянский гуманист Р. Волатеран (1506 г.) писал, комментируя сведения античных географов: «Роксоланы у Плиния и Птолемея, роксаны у Страбона, ныне же рутены (так в средневековых латиноязычных источниках именовали русских – С.С.)». Австриец И. Фабри (1525 г.) подчеркивал генетическую связь народов, указывая, что русские «некогда, по свидетельству Плиния, именовались роксоланами». Придворный врач римских пап П. Иовий (1526 г.) делал акцент на территориальном аспекте, замечая при описании русского государства, что «в древние времена пространство сие занимали Роксоланы, Геты и Бастарны, откуда по моему мнению произошло и самое название России» (Кудрявцев А.Н. Трактат Иоганна Фабри «Религия московитов» // Россия и Германия. М., 1998. Вып. 1. Прим 36; С. 17; Иовий П. Книга о посольстве, отправленном Василием Иоанновичем // Библиотека иностранных писателей о России. СПб., 1836. Т. 1. С. 27).

Это мнение проникло в польскую историографию. Так, например, М. Стрыйковский (1582 г.) указывал, что имя роксолан сходно с именем русских. А. Гваньни (1578 г.), считая роксолан предками русских, писал, что «древний географ Птолемей... называет их Роксоланами, как бы Русь и Аланы» (Strykowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmodzka. Warszawa, 1846. Т. 1. S. 108-109; Gwagnin A. Z Kroniki Sarmacyi Europejskiej. Krakow, 1860. S. 186). Именно в последнем варианте роксоланская версия была принята Ломоносовым и Третьяковским, познакомившимися с ней первоначально благодаря «Синопису» (1674 г.), опиравшемуся в изложении догосударственного периода отечественной истории опираясь на польских авторов (Пештич С.Л. «Синопис» как историческое произведение // ТОДРЛ. 1958. Т. 15. С. 287).

Роксоланская версия сохраняла свое влияние в европейском ученом сообществе и в первые десятилетия XVIII в. Например, в диссертациях, изданных в Дрездене и Лейпциге, немецкий историк и филолог И.-Х. Шеттген пытался доказать, что русские происходят от роксолан (Christianus Schoettgenus. De Ruthenorum originibus. Caput I – III. Dresden, 1731). В достаточно популярной в Европе «Всеобщей истории с

древнейших времен до настоящего времени», издаваемой Лондонским королевским обществом с 1736 г. назывались «роксоланы, от которых ныне выводят русских или московитов» (Ломоносов М.В. Соч. М.; Л., 1952. Т. 6. С. 554). Значимость роксоланской версии подтверждается и тем, что первоначально ее разделял Г.З. Байер (Bayer T.S. De origine et priscis sedibus Scytharum // Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Petropoli, 1728. Т. 113. Р. 398). Эти сочинения были хорошо известны в отечественной историографии и на них ссылаются Третьяковский, Ломоносов, Щербатов при обосновании мнения о связи имени «русь» с роксоланами. В конечном итоге, роксоланская версия была принята и Миллером, поскольку в сравнении с его первоначальным мнением была влиятельнее в ученом мире.

Таким образом, появление роксоланского этапа в истории этнонима и этноса «русь» в сочинениях XVIII в. является результатом взаимодействия отечественной историографии с европейской историографической традицией XVI – первой половины XVIII в.

А. М. Столяров (Казанский федеральный университет)

Отражение современной историографической ситуации в картографической модели Великого княжества Литовского

Одним из развивающихся направлений в современных исследованиях является изучение визуальных образов различных исторических феноменов. В связи с этим представляет большой интерес решение проблемы визуализации исторических представлений. Есть основания полагать, что изменения в содержании современных исторических карт связаны не только со стремлением их авторов разнообразить это содержание с учетом появления новых фактов, но и отражают определенные сдвиги в концептуальных подходах к истории отображаемого на карте объекта. На наш взгляд, этот тезис подтверждается на примере визуального представления территории Великого княжества Литовского (далее – ВкЛ) в современных картах.

В связи с распадом СССР и образованием независимых государств в новых национальных исторических школах произошла своеобразная «приватизация» ВкЛ, которое стало рассматриваться в качестве первоосновы национальной государственности в Литве и Беларуси. Эта ситуация отражена в карте «Великое княжество Литовское. XIII в. – середина XV в.» (Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. М., 2005. Т. 1. Приложение. Карты). В ней доминирующее положение Литвы подчеркивается тем, что обозначенные границы Тракайского и Виленского воеводств, чьи административные центры расположены на территории этнической Литвы, охватывают большую часть территории современной Республики Беларусь. В карте «Беларусь в конце XVI века» (Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. Минск, 2009. С. 12-13) ее гра-

ницы в большинстве случаев выходят за пределы современных очертаний Беларуси на территории России, Украины и Польши.

В современной историографии подчеркивается близость ВкЛ по своему социально-политическому строю центрально-европейским структурам (История Центрально-Восточной Европы. СПб., 2009). В соответствии с таким подходом на карте «Великое княжество Литовское в 1345-1430 гг.» (Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. С. 8) особым символом отмечено место заключения в 1385 году Кревской унии ВкЛ с Польшей, а на карте «Великое княжество Литовское в XV – первой половине XVI в.» (Там же. С. 10) на территории Польского королевства указаны периоды его унии с ВкЛ.

В советской исторической науке главное внимание акцентировалось на процессе объединения русских земель московскими князьями. При этом затушевывалось доминирующее положение ВкЛ в Восточной Европе в течение XIV – первой половины XV в. В современных картах ВкЛ показано как сильный субъект международных отношений в данном регионе, способный навязывать свою волю на всех направлениях внешней политики. Так, если в легенде советской карты «Великое княжество Литовское в XIII веке – середине XV века» верховские княжества представляются как «находившиеся попеременно во владении Литовского и Московского княжества» (История Литовской ССР. М., 1962. Т. 1. Вкладка. Карты), то в вышеупомянутой белорусской карте эти княжества названы «непосредственно присоединенными в 1420-е годы» к ВкЛ. А максимальные границы княжества на востоке на этой карте включают в себя верхнее течение Дона. Данный факт на советской карте отсутствует.

Литовская картография, также как и белорусская, стремится вывести на первый план внешнеполитические успехи Литвы, показывая, что прусские земли Надровия и Скаловия до 1283 г. контролировались литовскими князьями, а не Тевтонским орденом. Если в легенде советской карты степи Северного Причерноморья названы землями, «номинально зависимыми от Литовского княжества», то на литовской карте те же районы обозначены как «владения Витовта».

Взросший в последние годы интерес к ВкЛ как к государственному образованию со специфичной территориальной социально-политической структурой привел историков к отказу от его определения как федеративного государства, где его субъектами являются только Литва и русские земли. Федеративное устройство ВкЛ представляется более разнообразным и сложным (Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. С. 393-408; Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI века. М., 2010. С. 43-83). В соответствии с этим на современных картах усложнена административно-территориальная сетка княжества, включающая наместничества, воеводства, земли и удельные княжества.

В советской историографии территориальный рост ВкЛ обрывался на картах в середине XV в., что подразумевало его прекращение. Одновременно с этого же времени демонстрировался рост Русского государства. В качестве примера можно назвать карту «Русское государство в 1462-1600 гг.» (История СССР. М., 1948. Т. 1. Приложение. Карты). В связи с этим выражение «русские земли, отвоеванные от великого княжества Литовского» в легенде данной карты по своему смыслу подразумевало их возвращение России, оправдывая тем самым экспансию Москвы. А войны между Московским княжеством и ВкЛ презентовались как однонаправленный процесс побед московских князей. В настоящее время визуальное представление московско-литовских конфликтов существенно скорректировано в пользу отражения наличия определенных успехов ВкЛ в борьбе против Москвы. На современных белорусских и литовских картах показано возвращение в его состав района Любеча в 1508 году и района Гомеля в 1537 г. Это усложняет картину московско-литовских отношений в XVI в.

Представляется актуальным создание карт по истории Восточной Европы в XIII-XVI вв., на которых в соответствии с бесспорными работами историков всех пяти стран (Литвы, Беларуси, Украины, России и Польши) были бы максимально отражены протекавшие в этом регионе экономические, политические и конфессиональные процессы.

П. Б. Уваров (Челябинский ГПУ)

Историографическая революция: контуры необходимого и возможного

Состояние современной исторической науки осложнено проблемами на предметном, методологическом, репродуктивном и экспертном уровнях. При этом данный перечень дисциплинарных трудностей логически взаимосвязан на уровне генетическом. Прежде всего, это связано с тем, что Ф. Бэкон формализовал в образе первого «идола», стоящего на пути познания. Суть данного препятствия заключается в ложной уверенности, что наша обыденная повседневная диспозиция достаточна для успешного исследовательского результата. В этом смысле крайне специфичный социально-культурный контекст формирующегося новоевропейского секулярного общества по умолчанию был признан универсальным и, фактически, нормативным. Следствием этого стало то, что новая историческая наука оказалась инфицирована анахронизмом (в противоположность провозглашаемому историзму), наивным лимитизмом (т. е. навязыванием иным историческим эпохам своей собственной специфики), а также методологическим индуктивизмом в силу того, что исследуемая реальность заведомо не предполагала никаких более сложных операций, чем сбор эмпирической информации.

Важнейшей задачей, которая, на наш взгляд, стоит перед исторической наукой, оказывается возвращение себе статуса нормального в эпистемологическом плане исследовательского предприятия. Программа-минимум заключается в признании необходимости данной методологической революции. Программа-максимум предполагает восстановление полноценного теоретического сегмента в пространстве исторического знания, с полноценным использованием возможностей исследовательской логики, а не только ее индуктивной, эмпирической версии. Вероятно, речь должна идти о своеобразной реституции относительно философского и социологического знания с целью восстановления научного суверенитета истории, который невозможен без восстановления фигуры историка-теоретика в той же мере, насколько в рамках физики важна и первостепенна роль физика-теоретика.

Контуры историографической революции просматриваются через следующие существенные изменения:

1. Реформатирование исторического пространства, так как не секрет, что в рамках новоевропейского научного проекта пространство истории оказывается простым продолжением пространства природного. В рамках такого произвольного допущения сформировалась виталистская парадигма, организующая и определяющая в соответствующем ключе все доминирующие исследовательские программы в исторической науке. Таким образом, предпосылочное знание, в неявной форме определяющее все рационализируемые исследовательские операции, базируется на представлении о людском сообществе как изначальной популяции высокоорганизованных животных, ставящих перед собой прежде всего задачу удовлетворения материально-физиологических потребностей. В результате поступательного развития эта потребность воплощается в цивилизованную систему производства и распределения материальных благ. Естественно, фундаментальным детерминантом исторического процесса становится развитие хозяйства и социально-экономических отношений. Тем самым, гипотеза об экономическом детерминизме исторического развития сформировалась исходя из произвольного (т.е. никем не доказанного, не наблюдаемого, не проверенного экспериментально) допущения о свойствах исторической реальности, как чисто природной, биологической в своей основе;

2. Реметодологизация исследовательских программ связана с тем, что анализ концептуальных принципов современной исторической науки позволяет нам констатировать наличие методологического кризиса, связанного с эпистемологическими дефектами следующего характера: господство индуктивизма, держасьего на скрытых произвольных допущениях в качестве предпосылочного знания; переизбыток интерпретаций, вынужденное умножение сущностей и смыслов, превращающее историю в науку мнений; тенденция «потери» предмета науки в ситуации неограниченного отчетливыми теоретическими основаниями интерпретационного произвола.

Попробуем систематизировать фундаментальные недостатки современной исторической науки, вытекающие из ее исключительной индуктивности:

а) культ факта, основанный на уверенности, или, лучше сказать, предрассудке, что единственным, вполне достаточным для получения успешного результата исследовательским алгоритмом является процесс восхождения от простого к сложному, от единичного к общему. Господство эмпиризма в истории фактически сводит задачу историка к попыткам достигнуть результата путем «выкладывания» реальности из неких ее отдельных, подчас случайных фрагментов по типу мозаики (puzzle), хотя феноменологическая бесконечность мира делает процесс его эмпирического познания заведомо бессмысленным.

б) переизбыток и конфликт интерпретаций, прямо вытекающий из сугубо индуктивного характера современного исторического познания. Общий рост субъективизма в современном историческом познании превращает практически любое исследование в дополнительную интерпретацию. Становящаяся все более динамичной, интерпретационная активность, несмотря на свою избыточность и внутреннюю конфликтность, не может быть сколько-нибудь ограничена в силу дефицита дедуктивных подходов в истории.

в) скрытые дефекты фактологического отбора. Опора на индуктивизм и обработку простейших фрагментов реальности требует от историка учитывать то обстоятельство, что не все сведения о действительности равным образом откладываются в источниках. Парадоксальным выглядит то обстоятельство, что индуктивная исследовательская логика, в идеале настаивая на прямом обращении к непосредственной реальности, обречена на контакт прежде всего с нетипичными, ненормальными, исключительными ее сторонами.

3. Реконтекстуализация источников, заключающаяся в изменении взаимной диспозиции источников по степени важности, исходя из принципов историзма, а не представлений исторического позитивизма XIX-XX вв.

К. Б. Умбрашко (Новосибирский ГПУ)

Историография картографического изучения Сибири первой четверти XVIII в.: А. И. Андреев

Крупным источниковедом и археографом, занимавшимся историографией картографического изучения Сибири был Александр Игнатьевич Андреев (1887-1959). Его жизненный и творческий путь «навсегда будет служить ярким примером трудолюбия, научной принципиальности, честности, преданности науке» (Гольденберг Л.А. Александр Игнатьевич Андреев как историко-географ // Вопросы истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1973. С. 288). Особое внимание историк уделял изучению исторической географии.

Сибирские картографические источники имеют большое значение для изучения конкретно-исторической проблематики. Многие страницы трудов А.И. Андреева (Андреев А.И. Очерки по источникам поведению Сибири. М.: Л., 1965. Вып. 2: XVIII век (первая половина) посвящены картам Сибири XVIII в. Рассмотрим основные положения его исследования.

К началу XVIII в. присоединение северо-восточной Сибири русскими было закончено, остался не присоединенным к Русскому государству лишь Чукотский полуостров. Усилия промышленных и служилых людей в начале XVIII в. стали направляться на освоение островов, лежащих у берегов Якутии в Северном Ледовитом и Тихом океанах, и, в частности, к югу от Камчатки – Курильских. Описания походов служилых и промышленных людей на прибрежные острова Северного Ледовитого и Тихого океанов и составленные тогда чертежи в большинстве своем до нас не дошли, но сохранившиеся карты: И. Львова – 1710 г., Ф. Бейтона – 1710-1711 гг., Я. Елчина – 1719 г. – составляют комплекс ценных источников по истории северо-восточной Сибири и Якутии (Андреев А.И. Изучение Якутии в XVIII в. // Учен. записки Якутского филиала АН СССР. Якутск, 1956. Вып. 4. С. 3-4).

В декабре 1724 г. секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов донес Петру I, что Генеральная сибирская карта еще не составлена, а имеется несколько карт отдельных частей Сибири. Получив это сообщение И.К. Кирилова, Петр I велел соединить имеющиеся карты отдельных частей Сибири на один лист и объявить, «что то воля его величества». «Через одну ночь» Кирилов «своеручно нарисовал» сводную карту и представил ее Петру, который ее «изволил к себе взять»; позднее Кирилов, будучи в Москве, видел свою карту у Я.В. Брюса, который сообщил, что получил карту от самого Петра «для скопирования».

В XVIII в. собирание материалов о Сибири в значительной мере связано с пребыванием здесь пленных шведов, которых с 1711 г. стали расселять по разным городам Сибири. Среди них было много образованных людей разных специальностей, которые в месте своего невольного поселения до 1722 г., когда им было разрешено вернуться на родину, собирали о Сибири сведения. Собранные шведами географические известия о Сибири были использованы в западноевропейской картографии для издания более точных карт Сибири.

Особая роль в развитии картографии Сибири принадлежит Филиппу Иоганну фон Страленбергу (1676-1747), который около десяти лет прожил в Тобольске (1711-1721). Страленберг преимущественно интересовался географией Сибири и к 1715 г. приготовил первую карту Сибири, которая была украдена во время бывшего в этом году в его доме пожара. Страленберг после кражи первой карты взялся за составление новой, но в 1718 г. она была отобрана у него сибирским губернатором кн. Гагариным, запретившим ему под угрозой ссылки

на Ледовитое море заниматься картографией. Страленберг вернулся к этим занятиям уже после увольнения Гагарина.

Копия карты 1718 г. попала в руки Петра I, который приказал, если явится за нею неизвестный сочинитель карты, представить его себе. Об этом повелении стало известно Страленбергу; по его словам, он старался еще более усовершенствовать свою новую карту Сибири, за составление которой принялся вскоре после 1718 г. Прибыв в Москву в 1722 г., он поднес царю новую карту Сибири, которая так понравилась Петру I, что Страленбергу было предложено начальство над землемерной частью, от чего он, однако, отказался.

Для своей третьей карты Сибири, которую он увез с собою в Швецию, Страленберг использовал те чертежи Сибири, которые были получены им от С.У. Ремезова или от его сыновей; он внес некоторые исправления, сделанные на основании известий, собранных им во время путешествия по Сибири в 1721-1722 гг.

В феврале 1722 г. Страленберг прибыл в Красноярск, откуда был послан в Енисейск; по возвращении в Красноярск он уехал в европейскую Россию, а затем на родину. Во время этих путешествий он собрал новые материалы, которые явились важным дополнением к полученным им в Тобольске, Томске и Красноярске.

Карта Страленберга, по мнению Андреева, – одна из лучших иностранных карт Сибири XVIII в.; для нее использованы такие ценные русские источники, как чертежи С.У. Ремезова, исправленные и дополненные во время путешествия Страленберга по Сибири вместе с Д.Г. Мессершмидтом. Впервые на карте Страленберга показана напротив Чукотки часть Америки, как неизвестный остров. Представляют интерес карта Енисея, камни с древнетюркскими надписями, изображения шаманских бубнов и божков-покровителей и др.

Труд Страленберга «Историческое и географическое описание полуночно-восточной части Европы и Азии» (русский перевод был опубликован в 1797 г.) включает в себе много новых и ценных сведений о России и Сибири. Основной недостаток труда состоит в том, что автор, плохо зная русский и другие языки народов России и Сибири, часто использовал филологические рассуждения, столь характерные для историков XVIII в. Но тогда же, в XVIII в., за это его справедливо укоряли Миллер и Гмелин. Считая критику основательной, следует признать достойной внимания попытку Страленберга выяснить на основании языковых данных этнические отношения сибирских и восточнорусских народов, а встречающиеся в труде материалы – ценным научным источником (Андреев А.И. Очерки по этнолингвистике Сибири. С. 43).

В своем труде Страленберг сообщает много сведений о сибирских народах: барабинских татарах, даурах, якутах, юкагирах, камасинцах, канских татарах, коряках, остяках, тунгусах и др. На карте показаны места их обитания.

У Страленберга впервые собраны известия о плаваниях русских к востоку от Лены; соответствующее место в его труде, где он говорит об этом, заслуживает внимания тех, кто интересуется историей плавания в Северном океане.

Широкая известность труда Страленберга в XVIII в., его научное значение остается актуальным и сегодня (Новлянская М.Г. Филипп Иоганн Страленберг. М.; Л., 1966; Гришев В.А. Карта Сибири Филиппа Иоганна фон Страленберга // Краеведческие записки / Иркут. обл. краеведческий муз. Иркутск, 2007). Научная биография исследователя стала предметом специального изучения.

Ю. Ю. Хмелевская (Южно-Уральский ГУ, Челябинск)

«Русский проект» Фрэнка Альфреда Голдера: первые шаги американской академической русистики

Имя Фрэнка Голдера (в русской транскрипции – Франца Гольдера, 1877-1929) в настоящее время малоизвестно как в России, так и в США, а между тем именно его деятельность сыграла важную роль в складывании одного из крупнейших американских центров русистики и советологии.

Уроженец «черты оседлости» Российской империи, Голдер прошел путь, который в какой-то степени можно считать воплощением «американской мечты» – от оборванца из семьи одесских беженцев с еврейско-немецкими корнями до выпускника Гарварда, профессора, научного эксперта по Восточной Европе и куратора фондов созданного в 1919 г. Гуверовского Института «Войны, мира и революции». Однако интерес Голдера к российской истории был связан не с «русским следом» в семейном прошлом, а скорее наоборот, американской социализацией. Принятие унитаризма и попечительство баптистского священника, взявшего на себя хлопоты об образовании мальчика, привело к разрыву с диаспорой, но дало возможность обучаться в школе, колледже и университете. Начав карьеру с преподавания английского алеутским детям в государственной школе на Аляске и заинтересовавшись историей этого штата, он пришел к выводу, что Аляска, относительно недавно вышедшая из-под российского влияния – это «начало американской истории» и «завершающая часть российской экспансии». Впоследствии именно российская экспансия на Тихом океане стала темой его диссертации, а наставником на докторской программе в Гарварде был Г.А. Кулидж, один из пионеров американской русистики, которая тогда переживала начальную стадию формирования.

Уже на самой ранней стадии академической карьеры, в архивной поездке по Европе Голдер предпринял несколько попыток добиться хотя бы кратковременной командировки в Петербург для со-

ставления библиографии книг, карт и рукописей об Аляске, имеющих в России. Однако ни Библиотека Конгресса, ни американские влиятельные университеты тогда не проявили интереса к этому начинанию, и добиться сдвигов удалось только к кануну Первой мировой войны. Протекцию составил Дж.Ф. Джеймсон, руководитель отдела исторических исследований Института Карнеги в Вашингтоне и редактор «American Historical Review», в планах которого было создание справочника материалов об Америке в российских архивах. Средства, выделенные в начале 1914 г., положили начало 13-летней «русской одиссее» Голдера, состоявшей из 5 поездок (в 1914, 1917, 1921-1923, 1925 и 1927 гг.), которые совпали с потрясавшими Россию драматическими событиями – вступлением в Первую мировую, революциями, страшным массовым голодом и социалистическими переменами, что было подробно отражено в его личных дневниках. Однако если первые две поездки были посвящены преимущественно локализации в России материалов, так или иначе касавшихся истории Америки (документов Министерства иностранных дел, отчетов о путешествиях, личных свидетельств и т.д. и их систематизации), то остальные три поездки были направлены на создание в США собственной профильной библиотечно-архивной и исследовательской базы для изучения истории России.

В 1920 г. Голдер получает позицию в Стэнфордском университете, где, по инициативе Г. Гувера, который одним из первых в США осознал важность сбора современных, «сиюминутных» материалов о войнах и революциях, создается для этого специальное подразделение. Он отправляется в самую длительную свою поездку – сначала в Европу, а затем, в 1921 г. – в Советскую Россию в составе Американской администрации помощи, где, помимо инспектирования голодающих регионов и составления политических обзоров, он занимается сбором и покупкой исторических источников. Всего за 1920-1923 гг., усилиями Голдера в России и за ее пределами для Института Гувера, Гарвардского университета и Библиотеки Конгресса было приобретено более 25 тыс. книг, 60 тыс. брошюр, газет, журналов, плакатов, рукописей, статистических отчетов, личных документов, мемуаров и др. При этом ему удалось привлечь к посредничеству в приобретении материалов как эмигрантов (Н.Н. Головин, Б. Николаевский), так и официальных советских представителей (М. Покровский, А. Луначарский), которые были заинтересованы в репрезентации русской революции на Западе.

На волне этого успеха, несмотря на продолжающееся дипломатическое непризнание Соединенными Штатами Советской России, Голдер начинает продвигать грандиозную идею – об организации профильного российско-американского научного института по изучению революции. В 1925 г. он получает на эту цель грант от Фонда Рокфеллера и, прибыв на празднование 200-летия Российской Академии Наук,

заключает предварительное соглашение между Стэнфордом и Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей (ВОКС) об учреждении Института Русской Революции. Это стало первой попыткой создания совместной научной организации такого рода.

Не симпатизируя большевикам, но считая революцию величайшим событием, Голдер пытался отойти от эмоционально-психологических оценок происходящего в России, присущих как русским эмигрантским авторам, так и большинству его коллег по историческому цеху в США. Он считал, что «пришло время изучить революцию как социальное движение, а не как психологию людей, жаждущих крови», попробовать понять ее социальную и экономическую природу. Однако идеалистическим надеждам американского историка о том, что изучение экономики и общества позволит дистанцироваться от политических клише и избежать разногласий, сбыться было не суждено – и показателем того является судьба Л. Литошенко и его исследования «О социализации земли в России» (единственного почти завершенного проекта Русского Института в 1926-1927 гг., который был опубликован в России только в 2001 г.). Ксенофобия наступающего сталинизма параллельно с процессом вытеснения из науки специалистов «старой», немарксистской школы похоронили идею совместного Русского Института и научных обменов вплоть до конца советской эпохи.

А. Б. Цфасман (Челябинский ГУ)

«Революционный компас» советской историографии первого послеоктябрьского десятилетия

Первое послеоктябрьское десятилетие (1917 – конец 1920-х гг.) явилось временем становления советской исторической науки, когда происходило ее приобщение (добровольное или принудительное) к марксизму и историко-политическим оценкам большевизма. Но находившийся в процессе становления тоталитарно-коммунистический режим еще сохранял некоторый простор для методологического и, в меньшей мере, для историко-политического плюрализма.

Считавший себя наследником и продолжателем радикальных социальных революций прошлого, большевизм проявлял к ним особенно большой интерес. Это определяло исследовательский «компас» молодой советской исторической науки и сторону истории революций и революционных движений на Западе в Новое время.

Ведущая роль в разработке революционной тематики в это десятилетие принадлежала историкам, пришедшим в науку из революционного движения и еще в дореволюционные годы приобщившимся к этой тематике (Д.Б. Рязанов, Ф.А. Ротштейн, Н.М. Лукин, В.П. Волгин и др.). Под их руководством создавались исследовательские направления и школы историков-марксистов, пришедших в науку в 1920-е гг.

«Революционный компас» определил преобладание в исследованиях следующих тем.

1. История Великой Французской революции (ВФР). Для ее изучения имелись, во-первых, веские идейно-политические причины. Марксисты считали эту революцию наиболее глубоким и поучительным социально-политическим потрясением, а якобинцев наиболее последовательной революционной силой. Большевики же видели в якобинцах самый близкий себе образец решительных революционеров, а их политическую практику как некий прообраз для своей диктатуры (Ср.: «революционная война», «революционный террор», «революционные трибуналы», «комиссары» и т.д.).

Во-вторых, изучение истории этой революции имело определенную традицию и немалые достижения как дореволюционной отечественной («русская школа» - Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский, а также Е.В. Тарле, П.А. Кропоткин), так и зарубежной, в том числе социалистической (Ж. Жорес, Г. Кунов и др.) историографии.

В наибольшей мере тогдашнее большевистское понимание ВФР отразилось в книге Н.М. Лукина «Максимилиан Робеспьер» (1919), в которой в сжатой форме были изложены история революции, преобразования якобинцев и обрисована роль в них якобинского вождя. Под руководством Лукина, ставшего лидером в изучении истории ВФР, в 1920-е гг. сложилась школа молодых историков-марксистов (Р.А. Авербух, В.М. Далин, С.Д. Куниский, А.З. Манфред, Н.П. Фрейберг и др., а также Г.С. Фридлянд). Историки, не входившие в нее, использовали историю ВФР для сравнения большевистского и якобинского террора (Е.В. Тарле) либо обращались ко времени Термидора, с которым связывалось перерождение революционной власти (К.П. Добролюбовский).

2. История Парижской Коммуны 1871 г., которую К. Маркс трактовал как зародыш пролетарской государственности и «диктатуры пролетариата», а В.И. Ленин в 1917-1919 гг. – как образец прямой пролетарской демократии и «зачаток» советской власти. В первые годы большевистской власти и особенно к 50-летию Коммуны был выпущен ряд мемуарных (П.Л. Лавров), агитационно-пропагандистских (М.Н. Покровский, В.М. Фриче и др.) и историко-публицистических (В.А. Быстрянский, И. Степанов и др.) работ, увенчанный монографией Н.М. Лукина «Парижская коммуна 1871 года» (1922), ставшей эталоном марксистского изучения и интерпретации восстания парижских пролетариев. Эта книга заложила основы советской историографии Парижской Коммуны, которая находила дальнейшую разработку как в последующих трудах самого Лукина, так и в исследованиях его учеников и последователей (С.Б. Кан, Г.С. Фридлянд, А.И. Молок и др.).

3. История марксизма, который большевики считали основой своей идеологии. Ею с дореволюционных лет успешно занимался Д.Б. Рязанов, создавший в начале 1920-х гг. Институт Маркса и Эн-

гельса и руководивший им до конца десятилетия. Автор капитальных работ (книги «Маркс и Энгельс», 1923, «Очерки по истории марксизма», 1923 и 1928 и мн. др.), он явился основоположником особой области исследований – марксологии, которое в последующем было полностью монополизировано большевистским руководством.

4. История домарксовых социалистических учений, которые считались предшественниками марксизма. Главная роль в их изучении принадлежала В.П. Волгину (книги «Сен-Симон и сен-симонизм», 1923 и 1925, «История социалистических идей», 1928-1931 и др.), создавшему новую область исторических исследований, которую он и его последователи развивали в течение последующих десятилетий.

5. История рабочего движения в странах Запада. Эту область еще в дореволюционное время и в 1920-е гг. наиболее успешно развивал Ф.А. Ротштейн, автор работ по истории чартизма и профсоюзного движения в Англии («Очерки по истории рабочего движения в Англии», 1923 и 1925 и др.). К данной проблематике примыкала история социалистических (социал-демократических) партий периода Второго Интернационала, на изучении которых оказывали влияние догматические оценки большевиков и Коминтерна.

Сложившаяся в 1920-е гг. «революционная» тематика стала надолго определять направления исследований советской исторической науки. Правда, в конце десятилетия некоторыми историками (напр., Лукиным) она была признана недостаточной и указывалось на необходимость ее существенного расширения. Однако этого не произошло. Последовавшая за «годом великого перелома» сталинизация марксизма усилила догматизацию трактовок и еще более сузила возможности свободного исследования даже ставших традиционными «революционных» тем.

П. С. Шаблей (Костанайский филиал
Челябинского ГУ, Казахстан)

Апология исторических империй и ностальгия по ним в современной историографии Центральной Азии и Казахстана

Центральная Азия всегда была исторически огромным регионом, где пересекались различные культуры, и происходила борьба за идеологическую и политическую гегемонию. В ней участвовали такие известные в мировой истории центры силы как империя Чингизхана и ее наследие в виде государств Тимуридов, Аштарханидов, государства/империи Саманидов, великих тюркских каганатов, а также Российской и Цинской империй. После периода независимости и вместе с обретением нового институционального статуса современные страны Центральной Азии стали больше обращаться к вопросам, связанным со своим культурным возрождением и поиском ориенти-

ров национального развития. Одним из механизмов такой деятельности стало сотворение связи между «героическим прошлым» страны, идеализируемым через образы ее национальных героев и империй, которые они создали и сделали образцами порядка, культурного расцвета и цивилизационного развития. История этих империй стала различными способами презентовать в глазах центрально-азиатского общества как уникальное и прогрессивное явление, важный исторический опыт, который «предки» современных народов заложили в фундамент современных государств и сделали примером для всеобщего благоговения.

Постепенно для легитимизации масштабных проектов национальной истории стали осуществляться возрождение и презентация уникального в национальной истории через символические и мифологические формы, которые укоренены в глубокие пласты исторической памяти и народной культуры. Произошла популяризация различных жанров народной литературы, прославляющей великих завоевателей и их мечты о созидании сильного и миролюбивого государства. В этих случаях государство является прямым участником дискурса, так как не только запускает в оборот ключевые понятия, наполняющие реальность различными символическими конструкциями, но, согласно Н. Лайту, в первую очередь, делает так, чтобы осуществлять контроль над народом в пределах ограниченной территории (Light N. Genealogy, history, nation // Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. 10 January 2011. P. 37). Это очень важно, так как границы современных государств Центральной Азии не совпадают с границами исторических империй и государств «их предков».

Борьба за культурное наследие сегодня имеет принципиальное значение, особенно для политических элит. Не только в связи с тем, что формирует имидж элиты в глазах народа, но и из-за культурной идентификации, которая занимает очень важное место в обществах, переживших период «частичного забвения» своего прошлого в советскую эпоху. Для воскресения их исторической памяти необходим поиск наиболее действенных ориентиров/стимулов. Так, например, в Таджикистане Саманидское государство превозносится как «высшая точка исламской цивилизации». В современной таджикской историографии империя Саманидов также предстает образцом государственного управления – как эффективная, стройная и простая государственная структура. В Узбекистане великий полководец Тимур, выходец из монгольского тюркизированного племени барлас, приобретает узбекскую этническую идентичность и становится таким образом национальным символом государства. Вместе с этим тенденции к переоценке прошлого Центральной Азии после монгольских завоеваний приобретают, порой, и вовсе абсурдное и ненаучное звучание, превращаясь в гонку за «присвоение» культурных героев, которые из «разрушителей и гонителей» сегодня превращаются в созидателей с

глобальными цивилизационными намерениями. При этом поиск компромисса между двумя полюсами, как правило, не является целью для мифологических историй. В этом плане великие исторические деятели Аттила, Чингисхан, Аспарух в работах некоторых казахстанских историков-мифотворцев, получают этническую идентификацию – казах, а империи, которые они создали, становятся неотъемлемой частью казахской национальной истории. И это несмотря на то, что само по себе преувеличение степени национальной консолидации в далеком прошлом противоречит конгломератной природе многих империй, что также было одной из причин их распада.

Нужно заметить, что процесс возвеличивания исторического прошлого – обычная черта историописания любой страны, но в период политической трансформации 1990-х гг. в Центральной Азии он, конечно, был усилен. В то время, когда общественное сознание было подвержено наибольшей ломке и переживаниями о своем будущем, стали появляться адекватные замещающие истории, которые демонстрировали «волну к забыванию» травматического прошлого, попытки вместо истории подчинения (угнетения) «выдвинуть на авансцену истории самодостаточный, замкнутый нарратив национального прошлого, в котором колонизатор или занимает маргинальное место, или вообще не существует» (Усманова А. Постструктурализм. Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск, 2001).